

Своим первым в жизни воспоминанием Виль Мустафин однажды назвал эпизод, когда он бился головой о холодный кафельный пол в детском приёмнике на улице Красина. С двухлетним малышом, ещё не умеющим говорить, случилась истерика, нервный припадок, как посчитали взрослые. Его пришёл навестить дед Сулейман, а он ждал бабушку. Почему-то её не пустили к внуку служительницы детского учреждения тюремного типа для детей врагов народа. А может, она просто не смогла прийти (возможно, болела) и прислала супруга. Крики внука, конечно, посчитали детским капризом. Взрослые уверены, что маленькие дети вообще не способны что-либо понимать. Хотя единственным отличием внутреннего мира (и мировосприятия) недавно родившегося ребёнка от взрослого человека, пожалуй, следует признать неумение относиться ко всему конформистски-пофигистски, с юмором и снисхождением. Дети не могут изречь банальное «се ля ви». Потому что не успели вкушать в полной мере, какова она на самом деле — жизнь. Впрочем, взрослые знают, ребёнка не обманешь. Дети безошибочно отличают хорошего человека от дурного. Они уже способны любить всем сердцем — а это главное, что определяет в человеке человека.

ОТЕЦ, ДЕД СУЛЕЙМАН, ТЁТЯ ХАДИЧА

I

Первое воспоминание, быть может, самое важное в судьбе человека, у Виля связалось с твёрдым намерением — лишиться себя жизни. Наверное, в это трудно поверить, чтобы двухлетний малыш был способен на такое... Тем не менее, Виль Салахович настаивал: в детприёмнике на улице Красина у него была не истерика, а именно твёрдая решимость умереть.

Он совсем не помнил своей жизни с родителями. Старшая сестра Чечкэ после рассказывала брату, как они жили в большой светлой квартире, выходившей окнами в Ленинский сад (тот дом на улице Дзержинского после войны снесли, а на его месте построили сталинскую пятиэтажку, где ныне располагается музей художника А. Мазитова).

Семья Атнагуловых была дружная и счастливая, жили они по тем временам в достатке, лучше многих, ибо папа их был известным и влиятельным в Казани человеком, входил в бюро Татарского обкома партии... И вдруг в один момент всё рухнуло. Отца арестовали, семью из квартиры выселили. Вскоре и маму арестуют, дочек отправят в детский дом, а маленького сына определят в приёмник для самых маленьких...

И коли Виль в неполные два года от роду пытался совершить «первый суицид», то можно верить — это была решимость вполне сложившегося внутреннего человека (в том маленьком хрупком тельце), который уже пережил страшную семейную трагедию. Коварная память не сохранила бытовых подробностей катастрофы, тем не менее, суть малыш ощутил на своей шкуре самым грубым образом — из светлого и тёплого, приветливого и безопасного мира, где мама с папой, бабушка и сёстры так ему были рады, так о нём заботились, вдруг малыша швырнули на жёсткую клеёнку в холодном детприёмнике. А рядом десятки таких же безвинно осиротевших детей дерут глотки, взывая к справедливости...

СОНЕТ МОЕМУ СОНЕТУ

То перевёрнут ты, то вывернут...

Ты — как судьба моя, сонет...

*Я в детстве был из детства выдернут,
мне камень заменил паркет.*

И голову об пол бился я, —

(мой первый в жизни суицид)...

*Одна лишь нянька ненавистная
не вспомнила своих обид.*

И отнесла меня на кухнюку,

*где пахло чем-то кисло-тухленьким,
поила — с ложки — кислём.*

Кормила булочкою пухленькой

и всё шептала тихо в ухонько...

Жаль, — в русском не был я силён...



Нашего поэта при рождении назвали не Вилем, а Вилом. В тридцатые годы модными были имена не из церковных святцев, а идеологически верные, новообразованные. Мне не пришлось в жизни встречать Октябрин или Даздраперм (Да здравствует Первое Мая), но с детства слышал такие имена, как Ким или Рэм (что расшифровывается, как Коммунистический интернационал молодёжи и триединство: Революция — Энгельс — Маркс). Особенно прижилось в массах мужское имя Вил (с разновидностями Вилен, Владлен), в честь вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.

Ничего удивительного, что Салах Садреевич Атнагулов именно так назвал своего сына. Для него имя это, безусловно, было свято. Он и дочерям придумал необычные имена, ныне практически не употребляемые — Чечкэ (в переводе с татарского — Цветок) и Гюлкей.

Всю жизнь Виль стремился узнать о своём отце хоть что-нибудь, однако биографию Салаха Атнагулова сыну удалось восстановить лишь в 80-е годы — ничего достоверного о реабилитированном отце до перестройки не удалось найти. Все статьи об отце Виль собрал в особую папку. Мне он дал в неё заглянуть в день нашей последней встречи...

Салах Садреевич Атнагулов родился в 1893 году в селе Суккулово бывшего Ермакеевского уезда на юго-восточной окраине Казанской губернии (ныне село числится в Белебеевском районе, на северо-западе Республики Башкортостан). Его отец (дед Виля) был лесоторговцем, имел наёмного батрака, что по тем временам считалось обычным делом, но после революции грозило чуть ли не смертным приговором.

Как было принято в их окружении, Салах поехал учиться в Уфу, окончил высшее духовное учебное заведение — медресе «Галия». Но стать муллой не захотел, избрал для себя путь народного учителя. Любопытная деталь: в башкирской глубинке учитель-татарин преподавал в чувашской школе... русский язык и литературу! Удивительно? Оказывается, по тем временам это было в порядке вещей. Чуваша в Казанской губернии довольно долго оставались этническим большинством. Национальные вопросы всплыли на поверхность сразу после революции — и решать их пришлось тогда Иосифу Сталину, народному комиссару по национальным вопросам в Советском правительстве (Совнарком). А проблемы административно-территориального деления большевики предпочитали решать по-революционному, одним взмахом шашки. Территорию между Волгой и Уралом поделили на автономные республики по своему усмотрению.

Революцию семнадцатого года Салах Атнагулов принял с восторгом и окунулся в практическую революционную работу. Он был левым эсером и тесно сотрудничал с Галимжаном Ибрагимовым, ныне признанным классиком татарской литературы, а сто лет назад являвшимся преподавателем медресе «Галия», одним из лидеров татаро-башкирского крыла социал-революционеров, который после Февральской революции был избран делегатом Всероссийского учредительного собрания.

Как мы помним, левые эсеры идеологически не расходились с социал-демократами (большевиками), политические разногласия появятся позже. Салах Атнагулов входил в комиссию мусульманского военного Шуро и Военный Совет Идель-Уральского Штата (республика Идел-Урал должна была включить в себя огромные пространства нынешних республик — Татарстана и Башкортостана, Чувашии и Марий Эл, простираясь до самого Казахстана!). С переездом Советского правительства из Петрограда в восемнадцатом году Салах Садреевич оказался вместе с Ибрагимовым в Москве, вошёл в Центральное бюро татаро-башкирского комиссариата, работал в комиссии по созыву Учредительного Съезда Советов Татаро-Башкирской Республики. В мае 1918-го, опять же вместе с Ибрагимовым, Атнагулова послали в Уфу — уполномоченный Татаро-Башкирского комиссариата стал «товарищем» (то есть заместителем) заведующего губернского отдела просвещения, заодно заведовал губернскими педагогическими курсами.

Летом до Уфы докатилась гроза Гражданской войны (заваруха с белочехами захватила не только Казань, Самару и Симбирск). Атнагулов идёт в Красную Армию, в боевой отряд татаро-башкирских левых эсеров. Говорившего на многих языках, в том числе на немецком и английском, его послали в тыл к белочехам — вести разведывательную деятельность...

После войны Салаха Садреевича стали «двигать» всё выше и выше. Опять же не без участия Галимжана Ибрагимова. Сначала избрали делегатом II Всероссийского Съезда коммунистических организаций народов Востока, а после съезда оставили в Москве, назначив редактором издательства Центрального Бюро коммунистических организаций Востока. В те годы Атнагулов часто пересекается в работе с «товарищем Кобой». И мама подтверждала Вилю позже, что Салах Садреевич со Сталиным одно время был на «ты».

В 1922–1925 годах Атнагулов работал главным редактором газеты «Эшче» («Рабочий»), она выходила на татарском языке и считалась центральным периодическим изданием для многих тюркоязычных регионов. Окончил Институт красной профессуры ВКП (б), где среди профессоров числился знаменитый Николай Бухарин, один из самых эрудированных деятелей в большевистской элите, позже репрессированный.

Знакомство с высшим руководством Советской России, как можно понять, и стало причиной гибели Салаха Атнагулова, как и Галимжана Ибрагимова, а также многих их знакомых и соратников тех лет. От ареста в 1937-м Галимжана-ага не спасёт даже высшее в ту пору звание — Героя Труда, а от суда Военной Коллегии и «высшей меры социальной защиты» (расстрела в течение суток) Ибрагимова «избавит»... лишь смерть в камере НКВД. Именем классика татарской литературы ныне назван большой проспект в Казани и красивейший бульвар в Уфе.

III

В середине двадцатых годов Салаха Атнагулова направили из Москвы в Казань — как тогда говорили, «бросили» на укрепление руководящих национальных кадров. С первых дней 33-летний «мэтр газетного цеха» занялся становлением республиканской периодической печати. С 1925 года Салах Садреевич был редактором главной газеты на татарском языке, которая тогда называлась «Кызыл Татарстан», ему же поручили организовать работу газетно-журнального издательства, которое тогда называли по-французски звучной аббревиатурой — «Гажур». Впрочем, это не значит, что у Атнагулова всё было в ажуре, практически с нуля ему пришлось создавать многие издания, в том числе выходящие до сих пор журналы — сатирический «Чаян» («Скорпион») и педагогический «Магариф» («Просвещение»). Не менее значимой для Салаха Садреевича стала преподавательская деятельность, прежде всего в Институте народов Востока, из которого позже вырос Казанский педагогический институт, ныне входящий в состав Казанского федерального университета.



Салах Садреевич Атнагулов

Салах-ага преподавал древнюю татарскую литературу. Шестьдесят лет спустя об этом напишет воспоминания видный татарский писатель, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая Ибрагим Салахов. Русский перевод его статьи «Учёный и педагог» (очевидно, до сих пор не изданный) осуществил Виль Мустафин.

Мы приведём из той статьи лишь несколько абзацев, наиболее ярких: «По правде говоря, Салах-ага Атнагулов при первой нашей встрече не вызвал у меня особого расположения: он показался мне слишком строгим, сухим, высокомерным человеком. Видимо, первое моё впечатление было вызвано его внешним обликом. Если мне не изменяет память (ведь после этой встречи прошло больше полувека), он был высоким, сухопарым, не сказать, чтоб очень темнокожим, но похожим на сильно опалённого солнцем смуглого южанина. Чёрные, непослушные, сухим ковылём рассыпающиеся по обеим сторонам лба волосы. Такие же чёрные и густые, сросшиеся на переносице брови. Продолговатое, с выступающими скулами лицо, на котором проглядывались рябинки. Вообще говоря, он производил впечатление человека угрюмого. И одет он был тогда в тёмный костюм, из-под которого виднелась чёрная косоворотка.»

В этом описании портрета Атнагулова невольно ищешь — и находишь черты сходства Виля Салаховича с отцом. Однако внешнее сходство вряд ли так важно, как манера выступать перед аудиторией. Студенты КАИ, учившиеся в шестидесятые годы, часто вспоминают, каким блестящим лектором был Мустафин, и к стати — тоже в тридцать три года! На лекции Виля по математике сбегались студенты разных потоков.

Но продолжим воспоминания писателя — студента 20-х годов: «...остановившись в центре аудитории, обвёл глазами студентов, задержавшись на каждом пристальным взглядом.

— Вам, уважаемые студенты, — голос мягкий, каждое слово произносится чётко и ясно, привлекая к себе внимание слушателя, — я буду читать лекции по истории древней татарской литературы. Дополнительных материалов для более глубокого усвоения этой темы предложить, к сожалению, не могу. Учебных пособий по данному предмету не имеется. Поэтому, внимательно слушая всё, что я здесь буду говорить, совсем не будет лишним, если отдельные моменты (я их буду выделять особо) вы будете записывать. — Он снова прошёл по аудитории, остановился на том же месте. — Итак, начнём первую лекцию. — Подойдя к кафедре, раскрыл свой портфель. — Вот несколько исторических источников...

Тогда не только учебников, даже отдельных статей по этому предмету не было. Всё упиралось в отсутствие исторических документов. Быть может, хранилища этих бесценных рукописей в те грозные годы, когда Иван Грозный осаждал Казань, были разрушены или, объятые пожаром, они обратились в пепел, как и многие другие городские строения. Если это так, то бесценные сокровища древней татарской литературы для нашей истории навеки утеряны. К счастью, не всё оказалось так уж безнадежно. Часть ценностей сохранилась. Нет, не в Москве, не в Петербурге, не в Астрахани, а совсем далеко-далеко: в Риме — в Ватикане, в Париже — в музеях Лувра, в Лондоне — в Британской королевской библиотеке. Об этом поведал нам Салах-ага Атнагулов, сопровождая свой рассказ показом фотодокументов. Благодаря ему, мы, студенты, прикоснулись к тем великим сокровищам, к тем бесценным реликвиям, что оставили нам наши далёкие предки...

Словно отвергая жестокий приговор истории — исчезли, пропали, утеряны — он вытаскивал из бездонного портфеля и демонстрировал нам всё новые и новые фотокопии бесценных исторических документов. Опираясь на эти живые свидетельства истории, Салах-ага высвечивал перед нами горизонты нашего далёкого прошлого, затянутое густым туманом веков. Своими лекциями он наяву воплотил одну из благороднейших миссий учителя — пробудил в нас, студентах, неистребимую тягу к познанию далёкого прошлого своего народа. Мы создали на факультете специальный кружок по изучению истории древней татарской литературы. Салах-ага многое сделал для того, чтобы этот кружок стал истинной ареной зарождения и борьбы мнений, стал центром изучения конкретных исторических рукописей, усвоения методов их сравнительной оценки и формирования обобщающих выводов. Эти поиски и находки нам всем очень нравились. Мы чувствовали, что с каждым занятием мы продвигаемся всё дальше и дальше — открываем что-то новое, ошибаемся, спорим. Наш учитель — в центре. Он — арбитр.

Салах-ага Атнагулов, подобно Абу Али ибн Сине, раскрыл перед нами покрытые пылью двери храма науки и раздал нам запрятанные там бесценные тайны. Одарил каждого из нас, а значит, одарил общество, одарил весь мир.»

Одновременно с журналистской и педагогической деятельностью Салах Садреевич читал лекции в Институте марксизма-ленинизма, возглавлял соответствующую терминологическую комиссию и комиссию по переводу трудов Маркса и Энгельса на татарский язык. Как учёный, он тесно сотрудничал с тем же Галимзяном Ибрагимовым, имя которого не случайно ныне носит Институт языка и литературы Академии

наук Татарстана. Под его руководством Атнагулов работал также по проблемам развития татарского литературного языка и татарского языкознания, написал множество статей по этим вопросам и стал соавтором учебника «Грамматика татарского языка. Синтаксис» (совместно с Г. Аппаровым).

По марксистско-ленинской терминологии тогда велись ожесточённые споры, впрочем, дискуссии не переходили в плоскость контрреволюционных обвинений. По сути, двадцатые годы стали неким советским Ренессансом — не только в науке и искусстве, литературе и общественной жизни. Конечно, много было жуткого и наносного, как, скажем, деятельность общества безбожников, крушивших храмы и мечети, или движения «Долой стыд!», которое организовывало в мусульманской Казани нудистские шествия по улицам. Вместе с тем, это было во многом плодотворное время.

Всё перевернулось в тридцатые годы — и взаимные обвинения двадцатых годов, вполне позволительные в рамках научной дискуссии или полемики в печати, вдруг стали поводом для арестов и репрессий.

IV

Обширные научные работы Салаха Атнагулова вспомнили в 90-е годы, когда в Республике Татарстан возобновились попытки перевода татарского языка на латиницу. Поскольку Атнагулов входил в правление общества «Яналиф» («Новый алфавит»), его по праву считали одним из главных идеологов латинизации. Сегодня баталии двадцатилетней давности многими почти забыты, хотя на некоторых улицах Казани до сих пор мы видим таблички с названиями улиц не только на татарском языке, но и написанными латинским шрифтом. Напомним, до 1927 года в Советской Татарии пользовались арабским шрифтом, после — вплоть до 1940-го использовали латиницу. Ныне в интернете можно найти популярную фотографию тех лет — на здании бывшего Дворянского собрания, ставшего в советские годы Домом красноармейца, позже Домом офицеров (к празднованию 1000-летия Казани дворец отреставрировали и назвали Ратушей), можно видеть огромную аббревиатуру «АТССР» (Avtonomia Tatarstan Soviet Socialistiq Respublikasy легко переводится на русский язык, поскольку не содержит ни одного исконно русского слова). А в музее-квартире Героя Советского Союза Мусы Джалиля на ул. Гоголя можно увидеть автографы поэта, также написанные латинской графикой. Поэт последние стихи свои в Моабитской тюрьме тоже писал на латинице.

Окончивший в своё время медресе, Салах Садреевич владел и арабской, и латинской графикой, а как языковед мог компетентно судить о предмете споров. Поэтому держался того мнения, что современному татарскому языку больше подходит именно латинский шрифт. А кириллица невольно искажает фонетический строй татарского языка. И не один Атнагулов придерживался таких взглядов, приводя достаточно доводов в доказательство... Но к научным доводам в те годы никто не прислушался, перевод татарского языка на кириллицу утвердила Москва, объяснив это сугубо политическим моментом.

Пятого мая 1939 года Президиум Верховного Совета Татарской АССР практически без обсуждения принял указ «О переводе татарской письменности с латинизированного алфавита на алфавит на основе русской графики». И с начала 1940-го кириллицу ввели в оборот, заодно изымая из библиотек множество татарских книг и брошюр, напечатанных арабской графикой или латинским шрифтом, тем более, многих авторов к тому времени уже не было в живых... Сейчас такую поспешность объясняют приближением войны. Напомним, вторая мировая началась — 1 сентября 1939 года, хотя «второй мировой» её никто ещё не называл...

В 90-е годы вопрос о возвращении латиницы в Татарстане обсуждался горячо. В сентябре 1999-го Госсовет Татарстана принял закон о переходе на латинский алфавит, и Президент республики утвердил такое решение. Переход на латинскую графику должен был начаться с 2001 года и рассчитан был на десять лет. Однако на федеральном уровне такой шаг суверенной республики посчитали неверным, ведущим к сепаратизму.

Никто тогда впрямую России, конечно, не угрожал, однако только что закончилась (ничем) первая чеченская война и уже разгоралась вторая... Комитет Государственной думы РФ по делам национальностей пришёл к такому выводу: «Современный татарский литературный язык успешно развивается при использовании алфавита на кириллической основе. Что касается вхождения в латино-письменный тюркский мир, такая ориентация может привести к изоляции Республики Татарстан от многонационального тюркоязычного населения, проживающего в различных субъектах России, включая этнических татар, использующих кириллическую графику, и в конечном итоге — к возможным межнациональным конфликтам». Таким образом, лингвистическую проблему снова разрешили чисто политическим методом, 15 ноября 2002 года Госдума приняла поправку в действующий закон «О языках народов Российской Федерации», по которой алфавиты государственного языка страны и государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы. Иные графические основы алфавитов языков республик в составе РФ могут устанавливать только федеральные законы. Закон полностью поддержали КПРФ, «Единая Россия» и ЛДПР, и лишь пятнадцать депутатов выступили против такой поправки. Тем не менее, использование латиницы в татарском языке сегодня допускается, в порядке эксперимента, в научных изысканиях или в неофициальной переписке. Никого за это, кажется, не привлекли к ответственности, как это было в тридцатые годы.

Впрочем, Салах Садреевич Атнагулов пострадал не за латиницу. В августе тридцать шестого его исключили из партии «за связь с троцкистами». А уже 2 сентября арестовали. По иронии судьбы семья их в то время жила на той же улице Дзержинского, где располагались подвалы НКВД, которые казанцы называли «Чёрным озером» (имя старинного городского парка, расположенного рядом, напротив окон самого страшного советского ведомства). Насколько можно верить документам тех лет, в 1936-м следователи НКВД ещё не лютовали, физическое воздействие к «врагам народа» (средневековые по сути пытки) разрешили официально лишь в тридцать седьмом. Возможно, этим объясняется запотоколенный факт: Салах Атнагулов не признал себя виновным ни по одному пункту обвинения. А местные чекисты особо и не старались выбивать признания. Руководителю «заговорщиков» Атнагулову и другим членам «подполья» сочинили обвинения по нескольким пунктам статьи 58-й. Признательных показаний по ней не требовалось. Дело контрреволюционной группы разрасталось, принимало «всероссийский» размах, число арестованных ширилось. Поэтому вскоре пришёл приказ сверху — этапировать членов «раскрытой банды троцкистов» в Москву, на Лубянку.

В число обвиняемых, разумеется, попал Галимжан Гирфанович Ибрагимов, под крылом которого Салах Атнагулов начинал свою революционную, творческую и научную деятельность. Ибрагимов был болен туберкулёзом, поэтому с 1927 года жил в Ялте. Но продолжал работать и как учёный, и как писатель, до самого ареста — 3 августа 1937 года — за участие «в контрреволюционной националистической организации и проведении вредительской работы, направленной на подрыв народного хозяйства республики!» Уж чем большой учёный-языковед мог подорвать народное хозяйство? Увы, сегодня трудно понять логику суровых тридцатых, когда споры об употреблении какого-либо слова или термина могли запросто перерасти в политические обвинения — и в результате стоить жизни...

Не нами подмечено — в имени человека не бывает ничего случайного... Не случайно имя и фамилия татарского писателя, к воспоминаниям которого мы обратились, так зеркально соотносятся с именем и фамилией его учителей — Галимжана Ибрагимова и Салаха Атнагулова! Продолжим цитировать воспоминания Ибрагима Салахова: «Перед арестом Галимжана Ибрагимова я виделся с ним в Ялте, был у него дома. На его письменном столе в трёх объёмистых папках лежала завершённая, отпечатанная на машинке, уже выверенная автором рукопись второй части романа „Наши дни“».

— Наконец-то закончил. Всё боялся — умру, не успею... Слава богу, успел. Теперь осталось только отправить в редакцию, — радовался Галимжан-ага, поглаживая обложки папок худыми, почти прозрачными ладонями. А ящики письменного стола были битком набиты новыми рукописями...

Больного, находящегося в предсмертном состоянии писателя арестовывают и в столыпинском вагоне под конвоем препровождают в Казань. Вместе с личными вещами рукописи были тоже арестованы — конфискованы.

Сейчас не найти не только самих рукописей. Невозможно отыскать даже протокол обыска, даже опись конфискованного имущества.

А те уникальные документы — фотокопии рукописных памятников древней татарской литературы, которые с большим трудом собирал по крупичкам Салах-ага Атнагулов и которые тоже были «арестованы» вместе с учёным, — где они теперь? Где теперь эти бесценные свидетельства нашей истории?»

Судьба распорядилась так, что Галимжана Гирфановича Ибрагимова не расстреляли вместе с остальными троцкистами. Он умер в тюремной больнице 21 января 1938 года, не дождавшись суда Военной коллегии, поэтому не попал в число «врагов народа». Его книги успели изъять из библиотек, упоминания о нём запретили во всех изданиях. Но его доброе имя вернулось в печать сразу после XX съезда КПСС, вместе с «хрущёвской» оттепелью, реабилитации ему не потребовалось, и теперь оно увековечено в созданном им академическом институте (языка и литературы имени Г. Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана), и в названии проспекта в казанском Заречье...

А Салаху Атнагулову и семерым его казанским «подельникам» Военная коллегия Верховного суда СССР 16 августа 1937 года вынесла смертный приговор. По сведениям сына, приговор привели в исполнение на следующий день. Место захоронения безвинно расстрелянных, как было в те годы заведено, от родных старались скрыть. Более того, о судьбе отца Мустафины много лет вообще ничего не знали. «17 августа отца расстреляли, — вспоминал Виль Мустафин, — а 18 августа вышло постановление Ежова о том, что члены семей изменников Родины лишаются жилплощади. Мне уже было два с половиной года, чтобы квартиру забрать, нужно было от мамы избавиться. И всех жён в одну ночь собрали по Казани. Мама возвращалась из бани, видит — у подъезда стоит машина, её забирать приехала. А за мной прислали какую-то даму. Мои старшие сёстры были у дяди в Бавлах. Они их не дождались, а меня забрали сразу. Маму поместили в кутузку. Она потом рассказывала, что очень много плакала, а когда оглянулась, увидела, что все знакомые — жёны тех, кого забрали раньше или позже моего отца.»

V

Виля и его сестёр спас дед Сулейман Мустафин. Внук его практически не помнил, многое узнал о нём позже, из рассказов тёти Хадичи. Сулейман Мустафин переехал в Казань в 1910 году из Пензенской губернии, где проживает большая татарская диаспора, где расположено самое большое в Европе татарское село Средняя Елюзань с 10-тысячным населением. В Казани у его супруги Фатихи ханым проживали три

брата, которые закончили медресе и стали муллами, а один из них, Абдрахман ага, даже служил товарищем (заместителем) главы Духовного управления мусульман. Братья помогли семье сестры устроиться на новом месте, приобрести дом в Татарской слободе. Сулейман Мустафин открыл свой магазин (обычную лавку, как тогда говорили, или торговую точку, как сейчас говорят) на Сенном базаре — самой оживлённой торговой площади Казани в начале прошлого века. Само название базара говорит о том, что там торговали самым ходовым товаром, аналогом современного бензина — ведь основной тягловой силой экономики была «одна лошадиная сила»!

По признанию младшей дочери (тётушки Виля) и более поздним воспоминаниям внука, Сулейман ненавидел советскую власть. Та всё у них отобрала, лишила достатка и всяких надежд на будущее... В довершение случился в слободе пожар — и дом их сгорел. Тогда дочь Зухра (мама Виля) уже была замужем за Салахом Атнагуловым, идейным коммунистом и активным партийным и общественным деятелем при новой власти. Сулейман с зятем не общался категорически. Дед был правоверным, молился пять раз в день, ходил в мечеть. И даже мыться ходил только в Татарскую слободу, поскольку остальные общественные бани Казани считал «грязными» (в мусульманском смысле, «нечистыми»).

В Казани довоенных лет на бытовом уровне достаточно чётко ощущалась некая демаркационная линия — между русской и татарской частями города. Кулачные бои на льду озера Кабан, что испокон затевали на масленицу русские парни с Суконки с ровесниками расположенной на другом берегу Старо-Татарской слободы, давно канули в небытие, тем не менее, деление на «ваших и наших» продолжало сказываться. Вот почему переезд на улицу Галактионова, в русскую купеческо-чиновничью часть традиционной городской застройки, дался Сулейману Мустафину очень нелегко. Просто погорельцам деться было некуда, пришлось с женой и младшей дочкой переехать к Атнагуловым, в коммуналку на улице Галактионова. Что, в свою очередь, позволило зятю с его растущей семьёй претендовать «на улучшение жилищных условий» (такие были формулировки). И точно, вскоре товарищу Атнагулову, занимавшему не последнее место в советской номенклатуре, предоставили новую, отдельную квартиру в двух кварталах от прежнего жилья, в доме на улице Дзержинского.

Оттуда Салаха Садреевича и вводили чекисты, благо, вести арестованного было недалеко — Татарское управление НКВД, печально известное «Чёрное озеро», как мы уже писали, находилось рядом. Очень символично, что прямо напротив того дома, на одной из аллей Ленинского сада в конце века возвели монумент жертвам репрессий. Атнагулов и его оболганные товарищи могил не заслужили, а потому их поминальным камнем можно считать сей монумент.

После ареста дочери, которую осудили на восемь лет за то, что была женой «врага народа», Сулейман Мустафин начал вызволять её детей. Пойти на это, переломить свой крутой нор, глубоко осознанную ненависть к безбожной советской власти, конечно, для деда было делом не простым. Больше года пришлось ходить по разным учреждениям, в конце концов, обращаться даже в приёмную Климента Ворошилова, который был наркомом обороны СССР и членом Политбюро ВКП (б) и Салаха Атнагулова должен был помнить по совместной работе в так называемом Юго-Восточном бюро ЦК партии в начале двадцатых годов. В итоге детей отдали деду «на поруки» (так об этом рассказывал позже Виль Салахович), впрочем, не по идейным соображениям, а по нужде — к 1938 году детприёмник на улице Красина, где держали маленького Виля, был переполнен, между тем аресты продолжались — и детей «врагов народа» некуда уже было девать... В порядке исключения, по особому распоряжению, родственники могли взять на содержание ребёнка не старше 14 лет, отца которого

расстреляли, а мать отправили в лагерь «для жён врагов народа». Таким же образом сын сотрудницы газеты «Красная Татария» Евгений Гинзбург (Атнагулов был главным редактором её татарской версии — «Кызыл Татарстан», то есть наверняка знал маму будущего писателя) и председателя Казанского горисполкома — маленький Вася Аксёнов был вызволен из детского дома дядей, родным братом матери. Судьба потом сведёт спасённых от смерти мальчишек Васю и Вилю в одной казанской школе — имени В. Г. Белинского.

Старших сестёр Виля вывезти из детского дома в Ирбите оказалось сложнее, дедушке пришлось отправиться за ними на Урал. Вскоре он привёз Чечкэ и Гулкей к бабушке. Всем троим внукам дед успел выписать новые «метрики», изменив фамилии — с Атнагуловых на Мустафиных, в расчёте на то, что это убержёт невинных детей от новых волн репрессий. Сулейман ага оказался прав, через десять лет власти заинтересовались судьбами детей «врагов народа», которых удалось вызволить из жерновов «революционного возмездия». Впрочем, послевоенные чистки не отличались прежней суровостью и неотвратимостью.

Сам Сулейман Мустафин до того времени не дожил. Он умер в 1939 году, сразу после того, как оформил документы внукам... Сердце старого человека не выдержало унижений, на какие пришлось пойти, выбивая многочисленные справки.

Бабушка Фатиха, всю жизнь занимавшаяся домашним хозяйством, осталась без средств к существованию. Вся забота о старушке-матери и детях сестры легла на плечи аспирантки Казанской ветеринарной академии Хадичи Сулеймановны Мустафиной. В 29 лет образованной и развитой девушке пришлось поставить крест на своей научной карьере и на личной жизни. Она устроилась в маслотрест, ездила с ветеринарными проверками по всей республике, добираясь до маленьких маслозаводов по ужасным дорогам, на плохих лошадях... Впрочем, такая служба имела выгодное преимущество — к скромному окладу Хадиче перепали кое-какие продуктовые «подарки» от председателей колхозов или заведующих животноводческих ферм. Особенно это выручало Мустафиных в голодные годы, когда началась война.

Вскоре умерла бабушка — Фатиха ханым... Зимой тяжёлого сорок второго года она собралась в баню, поехала как всегда, в Татарскую слободу. И не вернулась. Тётушка Хадича была в очередной командировке, так что дети о смерти бабушки узнали лишь на третий день. Можно представить, что они за эти дни пережили. Виль Салахович в связи с теми печальными событиями вспоминал такой эпизод. Где-то через неделю после похорон бабушки в дверь постучали. Виль был дома один, незнакомая женщина спросила:

— Ты Мустафин? Можно к вам на минутку?

Оказалось, из бани пришла уборщица, знавшая бабушку ещё с той поры, когда Мустафины имели в слободе свой дом... Когда случилось несчастье, женщина сняла с покойной золотую цепочку и серьги — успела до приезда милиции и врачей. Как она объяснила, иначе ценности сняли бы в морге... Родных Фатихи Мустафиной она нашла не сразу. Мир не без добрых людей — через знакомых удалось узнать адрес. Женщина передала украшения внуку, обещавшему всё передать тётушке, и ушла, так и не назвавшись. Это один из многочисленных примеров, насколько душевными и отзывчивыми, сплочёнными и справедливыми были люди в годы суровых испытаний.

Величайшим примером высокой духовности и самоотречения Виль Мустафин всегда называл тётушку Хадичу! Каково было тридцатилетней женщине остаться на руках с тремя племянниками, всю себя посвятить тому, чтобы их вырастить и прокормить? Где найти столько одежды для постоянно растущих девочек, для непоседы Виля, на котором штаны и рубахи «прямо горели», постоянно цепляясь за гвозди

в заборе? Виль Салахович вспоминал, что тётя была худая, миниатюрная даже, покупая платье старшей Чечкэ, она после сама его донашивала!

О своей тётушке Виль Мустафин рассказывал благоговейно, всегда поражаясь простому житейскому героизму этой доброй, умной и великодушной женщины. Хадича ушла из аспирантуры, так и не создала собственной семьи, поднимая на ноги детей сестры. Живя в самом центре города, решилась завести скотину, чтобы было молоко для детей. Иначе, наверное, они бы не выжили. А умерла Хадича Сулеймановна всего за полторы недели до выхода на пенсию!

Тётушка была строга, заставляла племяшей хорошо учиться в школе, заниматься музыкой и спортом, возлагала на маленьких вполне взрослые домашние обязанности. Но прежде всего, она воспитала их собственным примером. Лучшего способа воспитания человечество до сих пор не придумало — во все времена так было и будет.

А поднимать на ноги троих детей, напомним, молодой одинокой женщине пришлось не в наши (в целом) благополучные времена, а в годы войны — самой страшной в истории человечества. Все продукты были по карточкам, за хлебом приходилось выстаивать очередь с ночи... И часто казалось, что пережить всё это просто не хватит человеческих сил. К сожалению или к счастью, люди удивительно быстро привыкают — как хорошему, так и плохому. У слабых, мягких и ранимых вдруг находится не так мало резервов, чтобы вынести испытания. Разумеется, маленькому Вилу было легче, чем старшим сёстрам, ведь он совсем не помнил прошлой счастливой жизни, и всё происходящее воспринимал как должное и естественное. Не удивительно, что уже в наши дни Виль Салахович вспоминал, каким у него счастливым было детство! Пусть голодное и сиротское... Но так жили все тогда.

С началом войны к ним подселили две семьи эвакуированных, в двух небольших комнатах повернуться было негде, уроки приходилось делать на общей коммунальной кухне. К счастью, подселённые оказались людьми хорошими, они жили трудно, но дружно, поддерживая друг друга.

При этом тётя учила Виля говорить, что его отец на фронте пропал без вести. Детям погибших фронтовиков в младших классах выдавали бесплатно пирожки. Есть их было стыдно... но есть хотелось всегда. Только ближе к окончанию школы Виль догадался, что половина одноклассников также скрывала, что их отцы репрессированы, и так же вынуждены были говорить о «без вести пропавших»... Это не было ложью. Их отцы действительно пропали без вести — ведь о расстреле «врага народа» близким не сообщали. И многие верили, что отец вдруг когда-нибудь придёт. Даже Вилу кто-то рассказал однажды, будто в последние месяцы войны, где-то за границей, на освобождённых от фашистов территориях, якобы видели офицера — ну как две капли воды похожего на Салаха Атнагулова! Возможно, его вовсе не арестовали? А перевели на конспиративное существование, забросили разведчиком на оккупированные территории — так уже было в годы Гражданской войны! Увы, похожие истории о чудесных встречах в годы войны рассказывали чуть ли не про каждого погибшего или пропавшего без вести.

Раз в месяц тётушка заставляла детей писать письма матери. Переписка с заключёнными была строго регламентирована, больше одного письма в месяц в лагере получать не полагалось. Однако и реже писать нельзя — иначе могут заподозрить «опекуна» в ненадлежащем воспитании детей. Сохранилась пара фотографий маленького Вили: на детской лошадке и на трёхколёсном велосипеде, одетого в матроску и аккуратнo причёсанного... Увы, и лошадка, и велосипед — были всего лишь реквизитом в фотоателье тех лет, на них малыши позировали для фотографий, которые предназначались для отправки родителям, отбывающим непомерные и незаслуженные сроки в лагерях. Такие «документальные» кадры, видимо, должны были

свидетельствовать, «как хорошо в стране советской жить» детям репрессированных родителей...

Сразу после детприёмника Виля устроили в детсад — соседка там работала заведующей. Через год после начала войны тётя Хадича повела племянника в музыкальную школу, со скрипкой тоже соседи выручили.

И так — во всё. В студенческие годы к Вилю ходили постоянно друзья, так как улица Галактионова выходила прямо к университету. По вечерам на их коммунальной кухне устраивали репетиции джаз-оркестра! По ночам спорили о новой поэзии... А утром соседи, чтобы умыться и согреть чайник, вынуждены были переступать между спящими вповалку приятелями Виля... Соседи относились к этому с юмором. Сегодня даже трудно представить подобное!



ГАЛАКТИКА ДЕТСТВА

Недавно попала на глаза старая фотография, на ней можно разглядеть в подробностях, как выглядела Казанка, протекавшая под стенами Кремля до затопления устья водами Куйбышевского водохранилища. Современному жителю мегаполиса-миллионника трудно представить, что эта речушка была шириной всего несколько метров! Казанка причудливо петляла по широкой пойме, то приближаясь к высокому кремлёвскому берегу, то убегая в заливные луга напротив... Непривычность пейзажу шестидесятилетней давности придаёт и то, что на другом берегу ещё не высятся небоскрёбы, не сияют стеклом огромные спортивные сооружения, появившиеся накануне Универсиады. Незаселённые дали...

На панорамном аэроснимке, сделанном немецким разведчиком-«рамой», Казанский Кремль как на ладони, правда, без нынешней доминанты Кул Шарифа. На месте мечети мы видим коробки гарнизонных корпусов, а Благовещенский собор стоит без куполов. Сразу за губернаторским дворцом виден мост через узкое русло, но это не Ленинская дамба, а старый деревянный, «горбатый» мосток для пешеходов. Дальше до самого горизонта раскинулись заливные луга, и лишь на самом краю видно что-то вроде поселения, очевидно, старинное село Савиново, которое помнит ещё Емельяна Пугачёва, заночевавшего в нём после неудачной осады Кремля...

Впрочем, не будем забираться так глубоко в историю. Остановимся на том, что наш герой жил совсем в другой Казани, совершенно не такой, к какой мы сегодня привыкли.

*Уходит город мой, уходит
уходит прочь и навсегда...*

*Лишь тень его — как призрак — бродит
ночами по чужим садам.*

За ней брожу я, как по следу,
хоть нет от тени и следа,
веду с ней тихую беседу
о том, что к нам пришла беда.

Хочу понять, что происходит,
ответов сам не нахожу:
то ль старость так ко мне приходит,
то ль я из жизни ухожу?..

Но я теряю милый город,
теряю родину свою...
Бывало, песни пели хором, —
теперь лишь соло — плач пою.

Душа болит и тихо стонет,
но боль не умаляет стон.
В рассветной дымке призрак тонет
и тени тают, словно сон...

Уходит город мой, уходит,
уходит прочь и навсегда.
И даже тень его не бродит
по обезлюдевшим садам.

Судьба распутинской Матёры
накрыла город, как беда...
Но там — вода селенье стёрла,
а здесь — матёрая орда...

Аула дикости нещадны, —
ломали город пришлецы, —
под хлыст кнута, под гик площадный
валились деды и отцы...

Я слышу — родина рыдает
как полоняночка — навзрыд, —
ордынец лютый обрекает
её на вечный срам и стыд.

Куда же мне-то надеваться?..
Родился здесь и здесь я рос...
В изгой силы нет податься, —
корнями крепко в землю врос...

Я тихо-молча наблюдаю,
как тает город дорогой.
И со щеки слеза сбегает,
как будто хочет стать рекой...

*Я здесь умру — в родной чужбине, —
чужды мне лица и дома...
Под злыми взглядами чужими
не дай, Господь, сойти с ума...*

Виль Мустафин писал эти стихи, когда в городе развернулись масштабные работы по подготовке к празднованию 1000-летия. Торжества проходили на самом высоком уровне, в конце августа 2005-го в Казань приезжал Президент Путин и главы многих государств... А за четыре месяца до того, в мае, Виль Салахович отмечал 70-летие — и по такому случаю принёс в «Казанские ведомости», где работал автор этих строк, свою стихотворную подборку. За недостатком места (для стихов всегда не хватает газетных площадей), помнится, мы смогли напечатать только это стихотворение.

I

...Мать вернулась из мест заключения в сорок пятом, в числе немногих, кому в годы войны удалось выжить в лагерной голодухе и на радостной волне Победы не попасть под очередную раздачу сроков. Отмотала свой — от звонка до звонка — и освободилась. Появилась в доме своих родителей тихо, детей не узнала. До полной реабилитации было ещё далеко, поэтому приходилось особо не распространяться «где была, откуда приехала», да и детям своим многого не рассказывала.

Сёстры Виля маму помнили, и ему о ней, конечно, часто рассказывали. Но сын совсем ничего не помнил из той прошлой своей жизни с родителями. В этой жизни мамой он привык называть её младшую сестру — Хадичу Сулеймановну...

Я пытаюсь представить тот мир военных лет, жизнь густонаселённого двора в доме 10 по улице Галактионовской. Представить несложно — ведь в молодости я сам жил в таких же домах и дворах, снимая углы то на Федосеевской улице, то на улице Ульяновых. В середине семидесятых, когда учился в театральном училище, эти старые районы в центре Казани сохраняли жизненный уклад почти что дореволюционный. Те дворы называли трущобами, но так жили тысячи казанцев — и ничего экстремального в том не видели. И был железный аргумент: живём без ванн и тёплых туалетов, зато в центре, ехать никуда не надо!

Виль Мустафин более тридцати лет прожил на сравнительно малом пятачке. От дома на Галактионовской до детсада в Лядском саду, до школы на перекрёстке улиц Горького и Толстого, до университета или консерватории, где он учился, как и до КАИ, где потом преподавал, — в любую сторону было не более десяти минут неспешной ходьбы! Это ни с чем несравнимое ощущение, когда ареал твоего каждодневного обитания находится в шаговой доступности, сегодня для многих практически утрачено, а потому нам недоступно важное качество цельного восприятия окружающего мира. Вскормленные обманчивой близостью виртуальных возможностей интернета, вещный мир мы подменили визуальными образами, не замечая их суррогатной мнимости, обманчивости.

Детские впечатления Виля Мустафина, напротив, были очень живыми, контрастными и яркими. Давайте попробуем представить, что мог видеть маленький мальчик каждый день, держась за руку тёти Хадичи или сестры Чечкэ, по дороге в детский сад.

Идти до центра города, казалось бы, всего два квартала, но для маленького человека это целая история. Выходя со двора через кирпичную арку на улицу Малую Галактионовскую (бывшую Панаевскую на Нечаевом бугре), прямо перед собой они видели величественный дом купца Кекина, со шпильями на маковках, резными

балкончиками и огромными стрельчатыми окнами. В нём всего четыре этажа, но каждый этаж — высотой с их дом! Правда внутри особняк не сохранил былых красот, разбитый и разделённый фанерными перегородками на многочисленные коммуналки... В нижнем этаже расположились большая гастроном и столовая. Безусловно, дом был главной доминантой района, фасадом он выходил на оживлённый перекрёсток сразу трёх улиц, который в просторечьи назывался «штаны» — Малая и Большая Галактионовские улицы огибали величественный кекинский фрегат, действительно, по форме напоминая флотские брюки-клёш, и сливались в одну улицу, а место их слияния пересекала улица Жуковского, тянущаяся от самой Казанки до стадиона «Динамо», бывшего Панаевского сада, где позже выстроят Дом пионеров.

Минувя перекрёсток, маленький Виль доходит с тётей Хадичёй до дома, где давным-давно располагалась пекарня, в ней недолго работал молодой Алёша Пешков, будущий великий пролетарский писатель Максим Горький. Здесь до войны открыли мемориальный музей. Его именем после войны назовут и Большую Галактионовскую. Напротив, если посмотреть через улицу, внимание привлекает старинное здание, в котором расположился Татарский театр, ещё не академический, но уже блистательный. Далее за ним следует Радиокомитет, обосновавшийся в жилом доме того же Кекина, а на другой стороне улицы — угловое здание третьей гимназии, где до революции была знаменитая Казанская художественная школа, а в годы войны будет школа для девочек.

И вот, наконец, Лядской садик, в котором их детсадовская группа гуляет до обеда... (Замечу в скобках: недавно я проходил мимо того одноэтажного особняка, но сегодня от детсада осталась лишь кирпичная стена фасада, тем не менее, даже она способна передать всю основательность и капитальность дореволюционного здания, столько лет дожидаящегося реставрации). Осень сменяется долгой снежной зимой, вслед за ней приходит весна с искрящимися на солнце ручейками — и Лядской сад снова расцветает, зеленеет, и сегодня в нём также слышны детские голоса. Но это уже не детсадовские воспитанники, а одинокие индиго в розовых комбинезончиках, прогуливающиеся с мамами и бабушками. Их выгуливают на детской площадке, но каждый из них теперь сам по себе, без группы. Хорошо это или плохо?

Среди сверстников Виль ощущал себя чужаком. Но сторониться дворовой компании не хотел. В его трудном детстве, как положено, были и дальние походы с друзьями на Казанку, и снежные горки во дворе, и летние вылазки по чужим садам, и прыганье в воду с высокого моста... Однажды, чтобы испытать себя, он даже прыгал с подножки трамвая. В результате сломал мизинец и не смог больше заниматься игрой на скрипке, к неудовольствию тёти Хадичи. И к собственному несказанному удовлетворению.

II

Малая Галактионовская улица в Казани — одна из самых крутых (не только по «престижу», но и в самом прямом смысле — по углу наклона), поскольку расположена на Нечаевом бугре. Здесь Виль и его дворовые друзья любили по весне пускать кораблики, выструганные из обломков коры, оставшейся от сожжённых за зиму дров. Сама улица была вымощена булыжником, который ещё при мне не сумели закатать асфальтом — тяжеленные катки того времени не могли забраться по крутому склону. Даже легковые автомобили не всегда могли его одолеть.

Галактионовские улицы мустафинского детства были их галактикой! Вряд ли Виль знал тогда, как переводится красивое греческое имя Галактион («молочный»),

но с молоком коровы, которую доила во дворе их дома тётушка Хадича, он впитал это вселенское имя финикийского юноши, ставшего великомучеником в III веке. В конце жизни Виль Салахович восторгался подвигом того благочестивого инока... Жития рассказывают: мать Галактиона ещё до рождения сына получила во сне пророчество, что сын станет святым. Родители воспитали мальчика в христианской вере и дали ему хорошее образование. Позже отец подыскал ему богатую невесту Епистимию. Но жених и её обратил в христианство, тайно крестил и уговорил бежать на гору Публион, где скрывались женский и мужской монастыри. Через несколько лет на гору пришли вооружённые язычники, гонители христиан. Монахи предпочли уйти в горы, но Галактион решил остаться в келье своей. А Епистимия, увидев, что его связали и уведут, сочла долгом своим разделить участь мужа. Супругов пытали и четвертовали. Их подвиг любви и верности ничем не уступает веронской легенде о Ромео и Джульетте!

Конечно, в годы советской власти улицу назвали так не в честь святого. До сих пор официально она носит имя героя-революционера Алексея Петровича Галактионова — самарского подкидыша, усыновлённого бузулукским слесарем, который был одним из первых большевиков моей родной Самары и близким другом Валериана Куйбышева (и это имя вписано у меня в паспорте как место рождения). Подпольщик Галактионов стал первым председателем Самарского губкома, затем комиссаром у легендарного Блюхера. После Гражданской войны секретарь ЦК ВКП (б) В. В. Куйбышев двигал самарского друга на первые посты — в Ростове, на Кубани и Ставрополье, а в конце 1921 года отправил в Советскую Татария, на укрепление руководящих органов молодой автономной республики. Здесь Алексей Галактионов быстро продвинулся с должности заместителя председателя Совнаркома ТАССР до председателя Казанского горисполкома, а в январе двадцать второго его избрали секретарём Татарского обкома партии. Москва посылала его руководить молодой республикой, прежде всего, для ликвидации последствий голода. Галактионов первым ввёл в Казани моду летать на самолёте по дальним районам республики и первым от этого пострадал — погиб в авиакатастрофе под Чистополем в июне 1922 года. Кстати, это была первая в истории Советской России гибель руководителя высокого ранга в результате воздушной аварии! Сталин после этого запретил первым лицам использовать самолёты в качестве служебного транспорта, а местные чекисты провели тщательное расследование на предмет возможной диверсии со стороны классовых врагов.

Гибель героя отметили достойными похоронами, в память о нём назвали улицы в Казани и Самаре. И даже на волне перестройки наши переименовальщики Галактионовскую улицу не тронули, может быть, просто упустили из виду... Ведь действительно она не такая приметная, короткая и горбатая. И зачем её вообще переименовывать? Алексея Петровича Галактионова казанцы давно забыли, о святом великомученике Галактионе забудут вряд ли. Так пусть и остаётся она такой навеки — галактикой детства Виля Мустафина!

III

Иногда старшая сестра Чечкэ брала маленького Виля выгонять в общее стадо их кормилицу-корову. И они спускались вниз по Галактионовской на улицу Пушкина, которая в те годы тянулась до самого Фуксовского бугра (ни оперного театра, ни здания обкома на площади Свободы, конечно, ещё не было), с крутого обрыва открывались дивные дали, пойменные луга тянулись до горизонта. А внизу, под Кремлём, через Казанку был перекинут деревянный пешеходный мост, который так и назывался — Коровий. По нему скотину, которую держали казанцы вплоть до начала 60-х годов, гнали

через реку пастишь, а вечером коровы с отяжелевшим выменем медленно возвращались домой. И надо было встретить свою кормилицу, чтобы сопроводить её во двор.

Во дворе же проходили и главные ребячьи игры, первой среди которых была безусловно «войнушка». Лишь в ненастье мальчишки перебирались в подъезд своей двухэтажки, чтобы поиграть в любимую «мохнушку». Теперь трудно представить, какой азарт и увлечение охватывали юную душу Виля Мустафина, когда он дожидался своей очереди набивать ногой непокорную битую! Ныне у детей любых игрушек вдоволь, тем не менее, современные тинейджеры предпочитают виртуальные развлечения.

Что же это за «мохнушка» такая? Признаться, я тоже не застал повального увлечения этой игрой. В нашем мехзаводском дворе играли во многие игры военной и даже довоенной поры, такие как «штанدر» или «чижик». Но старшее поколение «мохнушку» наверняка хорошо помнит. Смысл и цель игры, подбрасывая битую внутренней стороной стопы, так называемой футбольной «щёточкой», как можно дольше не давать «мохнушке» упасть. Выигрывает тот, кто выбьет большее число. Встречались мастера, что набивали до тысячи очков!

Мальчишки мастерили «мохнушки» из подручных средств, из остатков старого мехового воротника, обрезков, внутрь закладывали груз, как правило, из расплавленного свинца. Ничего сложного, конечно, если не брать в расчёт, что в те тяжёлые военные годы каждый лоскуток был хозяйкой учён, бытовых вещей, особенно носильных, катастрофически не хватало, достать хотя бы край порванного воротника было для мальцов большой удачей. Поэтому «мохнушка» среди пацанов считалась большой ценностью.

По воспоминаниям сверстников, Виль Мустафин был одним из самых сильных во дворе мастеров «мохнушки». В их подъезде жил его одноклассник Адик Раимов, к ним в гости часто заезжал и Алексей Гаманилов, с которым Виль ходил в одну группу, а потом и в один класс. Впрочем, о школьных годах нашего героя мы расскажем подробнее, а прежде сделаем «музыкальную паузу».

Как ни трудно было тётушке Хадиче с тремя малыми детьми, которых нужно и одеть, и накормить, тем не менее, она думала о будущем. Вот почему ещё в дошкольном возрасте она решила определить Виля в музыкальную школу. Всего год как началась война, Казань перенаселена эвакуированными, продовольствие отпускали по карточкам... А семилетнего Виля нарядили, как могли, и проводили на прослушивание в одну из лучших музыкальных школ. Кстати, та «музыкалка» находилась неподалёку от их детского садика, в бывшей усадьбе Боратынских. Знаменитая казанская музыкальная школа № 1 имени П. И. Чайковского гордится, прежде всего, прославленной ученицей — Софьей Губайдулиной. Она училась по классу фортепиано. Мустафиным в коммуналке было не до пианино, поэтому тётя Хадича записала Виля на скрипку. Вместе с Вилем Мустафиным в одном классе учились многие ребята, кто позже станет известным музыкантом, в частности, Ирина Бочкова станет профессором Московской консерватории, а Марат Ахметов — профессором Казанской. В их класс набрали детей достаточно известных родителей, например, с ними училась Марина Арбузова — дочка и внучка выдающихся казанских химиков, Эмиль Ключарёв — сын известного татарского композитора Александра Ключарёва, художественного руководителя Татгосфилармонии и Ансамбля песни и танца Татарской АССР, а также Эрик Аухадеев — сын одной из первых татарских актрис Галии Кайбицкой и директора Казанского музыкального техникума Ильяса Аухадеева (ныне музыкальное училище-колледж носит его имя). Здесь Виль Мустафин впервые встретился и с Рустемом Кутуем, сыном известного татарского писателя Аделя Кутуя...

Много лет пустовавшая усадьба (музей Е. А. Боратынского тридцать лет ютился во флигеле на углу) в 2015 году была, наконец, отреставрирована в первоначальном виде, в доме появилась белая балльная зала, где в позапрошлом веке Боратынские принимали представителей дворянского собрания... В советские годы её перестроили в концертную площадку с небольшой сценой и зрительным залом. И на той сцене Виль Мустафин со своими однокашниками занимался хоровым пением, что ему гораздо больше нравилось, нежели экзерсисы на скрипочке... Война войной, а у детей должно быть детство!

В сентябре 1943 года Виль Мустафин пошёл в первый класс. Казанская общеобразовательная школа № 19 имени В. Г. Белинского располагалась тогда на перекрёстке Галактионовской с улицей Льва Толстого, в старом деревянном здании, которого давно не существует — сорок лет назад на том месте построили многоэтажную межвузовскую столовую. Заметим, кстати, что именно в сорок третьем в стране ввели раздельное обучение, мальчики и девочки стали учиться в разных школах. И это стало одним из звеньев в последовательном и постепенном возврате к дореволюционным установлениям в разных областях. Так, например, в армии вернули погоны, в образовании вспомнили о гендерных преимуществах раздельного обучения, разрешили справлять религиозные культы. 4 сентября Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин встретился с митрополитами православной церкви и согласился на восстановление патриаршества... Три дня спустя патриархом всея Руси был избран Московский митрополит Сергий. Десятки храмов возвратили церкви, но в первую очередь — не закрыли те приходы, что стихийно открывались на оккупированных территориях, когда после Курской битвы, после коренного перелома в ходе войны, фронт стремительно двинулся на запад.

В стоявшем напротив их школы католическом костёле богослужений, впрочем, не возобновили, поскольку в здании церкви смонтировали аэродинамическую трубу — уникальное научное сооружение много десятилетий играло важную роль не только в деле обучения студентов Казанского авиационного института. Костёлы есть во многих городах, а вот такой трубы нет.

После Победы их школе передали здание, стоявшее напротив того костёла, всё на том же перекрёстке улиц Толстого и Галактионовской. Помимо музыкальной школы Виль стал ходить и в гимнастическую секцию. Спорт тогда был в почёте, фактически все школьники так или иначе были вовлечены в занятия физической культурой. Мустафин оказался одарённым гимнастом, многие упражнения на турнике и других снарядах он выполнял лучше, чем сверстники. И уже через несколько месяцев Виль выступал на районных и городских соревнованиях по спортивной гимнастике. В послевоенные годы этот вид спорта был не просто популярен, но входил в программу обязательных школьных уроков по физкультуре. Помню, в шестидесятые годы у нас отводили целую четверть на изучение «висов», «махов», «солнышек» и прочих турниковых фигур.

Для мальчиков это было особенно актуально, поскольку самоутверждение в подростковой среде не всегда происходит на эмоционально-интеллектуальном уровне. Говоря проще, пацанам порой приходится постоять за себя, пуская в ход кулаки. Тем более, когда в классе половина учащихся — с «низов»...

Подобное расслоение с каждым годом всё заметнее давало о себе знать. Ребята, ходившие в школу с улиц Федосеевской, Подлужной и других «низовых» переулков, расположенных у самой реки Казанки, как правило, были из рабочих семей, в их районе были сильны традиции уличной шпаны, процветала лагерная романтика. Через тридцать лет сам я окажусь в том трущобном районе, почти не изменившемся

с дореволюционных времён, с деревянными домами и удобствами во дворе. И так было вплоть до строительства филиала Музея В. И. Ленина — Национального культурного центра «Казань», сразу прозванного в народе «крематорием». Нас, студентов, снимавших у алкашей углы, местные бандиты почему-то не трогали, видно, понимали, что на нас не больно-то разживёшься.

Как однажды рассказывал Мустафин, в их классе водораздел сохранялся неукоснительно, хотя обе стороны сохраняли относительный нейтралитет. Тем не менее, Вилью пару раз доставалось от забияк с Подлужной. Они знать не знали о его сиротстве, о его безотцовщине. Но в недалёком будущем и на «фраеров» нашлась управа. Виль научился драться, слава о его нокаутах в юности разнеслась по всей округе. Но водораздел развёл одноклассников и после школы — половина класса сразу поступила в университет и другие институты. А другая половина... пошла на «первую ходку», то есть проходила свои «университеты» в местах не столь отдалённых.

А ещё, как вспоминали одноклассники Мустафина, Виль организовал в классе тимуровский отряд. Они ходили по дворам и выкапывали из снега дрова одиноких стариков, которым трудно было самим выйти из дома, носили престарелым воду из уличной колонки. Теория «малых дел» на практике оборачивалась каждодневными рутинными заботами, невозможно было оставить своих подшефных, которые поверили тебе и ждут твоей помощи. Но ведь у каждого из них были свои домашние обязанности, практически неведомые нынешним тинейджерам. Взрослые трудились по десять-двенадцать часов, практически без выходных, поэтому домашние хлопоты, стояние в очередях за хлебом и многое другое ложилось на неокрепшие плечи мальчишек и девочек военных лет.

IV

Одной из главных особенностей своего характера Виль с детства считал стремление к независимости. Можно было бы сказать, к свободе. Но точнее всего это можно выразить словом «воля».

Не случайно, став постарше, он вовлекал друзей-одноклассников в так называемые «походы». Собственно, вылазки на природу тогда вообще были популярны среди молодёжи, пешие марш-броски или водные прогулки, однодневные маршруты или ночёвки в палатках у костра... Особенно без взрослых! Кто в детстве не бывал в таких «походах», наверное, не поймёт всей прелести «вольной жизни» (я вырос на Волге, детство провёл у Жигулёвских ворот, и до сих пор храню воспоминания тех лет, как самые счастливые!).

С Адиком Раимовым Виль жил в одном доме, ходил в одну детсадовскую группу, а потом и в один класс 19-й школы имени В. Белинского. Раимовы имели моторную лодку, она стояла на другом берегу Волги, где у них была дача (не путать с нынешними дачами-усадебками в элитных загородных клубах! в те годы многие обходились фанерной хибаркой два на три метра). Однажды, в самом конце лета, Виль подбил Адика и нескольких друзей съездить к ним на дачу. А потом предложил совершить лодочную прогулку. Ребята рыбачили, варили уху на песчаных островах, чувствуя себя робинзонами! По воспоминаниям Абрека Сабитова, им попался огромный лещ с отрубленным хвостом. Вероятно, попал под винт буксира или катера... И они варили себе уху. Было это в районе Кзыл Байрака и Шеланги, двух живописных сёл, где любили отдыхать казанцы, снимая на лето дачи у местных жителей.

Тех островов давно уж нет, они ушли под воду, когда уровень Волги в 1957 году подняли на несколько метров — с запуском Куйбышевского водохранилища заметно изменились очертания волжских берегов. Напротив Шеланги, на другом, более

низком берегу Волги, располагался знаменитый Голубой залив. Там и сегодня располагается летний лагерь Казанского университета, и в пятидесятые годы он был самым желанным местом отдыха казанских студентов. Виль Салахович не раз вспоминал, как он любил там бывать. И даже став преподавателем КАИ, он продолжал посещать студенческий лагерь.

Вряд ли в детстве Виль Мустафин задумывался о проблемах несвободного советского общества. Но, повзрослев, не мог не замечать тотальной несвободы в стране. На подростковом уровне проблема свободы тоже обсуждалась, прежде всего, в связи с угрозой оказаться в местах её лишения. Угроза вполне реальная. Начиная с четырнадцатилетнего возраста любой пацан, наравне со взрослыми, нёс уголовную ответственность за любое противоправное действие, которое мальчишки воспринимали как шалость. Советское правосудие, сколько помню, не шибко любило применять условные наказания. И даже обычная дворовая драка — свершившаяся со всеми нормами «дуэльного кодекса», могла для кого-то обернуться вполне реальным сроком лишения свободы в воспитательно-трудовой колонии.

Насчёт «кодекса», кстати, я не зря вспомнил. В отличие от нынешнего беспредела, когда отморозки могут напасть на любого случайного прохожего и затоптать его без всякой жалости, в те годы подростковые драки велись всегда с соблюдением неписаных правил. Они потому и назывались неписаными, что почитались куда выше законов писаных, то есть уголовно-процессуальных.

О правилах дворовых баталий написано немало, среди основных, конечно, сразу приходят на память «лежачего не бить», «до первой крови» или «до слёз». Не допускались удары ниже пояса, особенно в промежность, за ходом поединка следили авторитетные рефери, как правило, из старших ребят. И дело тут не в детской жестокости, разумеется, а в вечных принципах иерархии. В послевоенном быту, бедном и трудовом, улица диктовала свои условия общежития, и взаимоотношения строились сугубо по силовому пути. Вообще, кто сильнее — это не жлобский постулат, а суровое правило природы. Как ни странно, такая иерархия не вела к росту насилия, наоборот, сдерживала его рост. Проще говоря, как в дикой природе, чаще всего пацанам не приходилось драться постоянно, чтобы выяснить, кто сильнее. Как молодые волки, сошедшиеся на границе своих ареалов обитания, далеко не всегда выясняют отношения с помощью когтей и клыков, а лишь демонстрируют свои физические кондиции и морально-волевые качества в некоем ритуальном ощеривании и рычании... Так и мальчишки безошибочно ориентировались в расстановке внутриворовых сил и точно знали своё место в иерархии, чтобы подтверждать свой статус по мере необходимости — и далеко не всегда в прямом единоборстве.

Виль Мустафин в своём дворе среди сверстников тоже был заводилой, поэтому не меньше других опасался всерьёз угодить в лапы Фемиды. Эту древнюю богиню правосудия, хорошо знакомую казанским пацанам по анфиладам на фасадах старинных зданий, не зря ведь изображали с повязкой на глазах — слепая сила могла легко сломать судьбу любому из них. Не случайно ведь римляне переименовали Фемиду в Юстицию, главенство права перед здравомыслием и милосердием всегда отличало сильные державы. А после войны СССР, безусловно, стал сверхдержавой. И органы юстиции, закалённые в боях, продолжали вести борьбу на всех фронтах «по законам военного времени».

В каждом дворе, в любой дворовой компании, обязательно и непременно, возникали подобные коллизии. Кого «закрыли», кому «срок впаляли», кто с нар «откинулся»... Виль был отличником в учёбе, но в дворовой тематике разбирался легко и свободно.

В подавляющем большинстве случаев несовершеннолетние пацаны попадали за «хулиганку», но порой к ним применяли и вполне взрослые уголовные статьи — за разбой и грабёж. На скамью подсудимых порой попадали дети из вполне благополучных семей, родители которых занимали высокие посты в советской иерархии — суровый закон мёл под одну гребёнку всех без разбора!

Виль с полутора лет (по детприёмнику на улице Красина) знал, что такое неволя. Пусть и не помнил подробностей недолгого младенческого заключения под стражу, зато глубинно, подкожно ощущал всю «прелесть» лишения свободы! И прекрасно сознавал: попади он в лапы советского правосудия, то никто его, сына «врага народа», не пощадит.

Некоторым сверстникам, получившим «по малолетке» первый срок, Виль даже помогал позже поступать в институт — ходил сдавать вступительные экзамены «за того парня». Это были сыновья крупных начальников. У кого же не было отцов с портфелями (а после войны, понятно, большинство оказались сиротами), тем приходилось хуже.

Ирония советской действительности заключалась в том, что места заключения (зоны, лагеря) тогда назывались исправительно-трудовыми колониями, считалось, что оступившийся — благодаря общественно-полезному труду — одумается, встанет на путь исправления и вернётся домой, полностью осознав свою вину и твёрдо решив начать честную трудовую жизнь. На деле всё оборачивалось куда трагичнее. Очень часто первый срок, за мелкую кражу или уличную драку, становился пожизненным клеймом — и навсегда определял путь человека по известной формуле «украл — попался — в тюрьму»... Фактически перед освободившимся сразу вырастал частокол непреодолимых препятствий: его не желали прописывать по прежнему месту проживания, а без прописки не брали на работу, безработных же в советской стране не могло быть по определению — тунеядство было прописано отдельной статьёй в Уголовном кодексе. Получался замкнутый круг, впрочем, часто сам же оступившийся-освободившийся спешил его разорвать. Благо, новый срок получить было ещё легче — за бывшими заключёнными внимательно следили участковые, которые лично были заинтересованы поскорее избавиться от беспокойного персонажа на вверенном им участке... Случалось, на таких вешали «глухарей», а некоторые были рады вернуться к мрачной и беспросветной, но зато понятной и однозначной жизни за колючей проволокой. После третьей судимости на такого бедолагу ещё вешали клеймо «рецидивиста», и уже не надеялись исправить общественно-полезным трудом.

Вот почему старинная поговорка «от сумы и от тюрьмы не зарекайся» для Вили и его товарищей в старших классах стала вполне серьёзно ощущаемым дамочным мечом над головой, что крутится на тонкой шее!

V

Призыва на воинскую службу Виль Мустафин, в отличие от многих своих сверстников, старался избежать также отчаянно, как и тюремного заключения. Более того, принципиальной разницы между ними не видел. Разве что в деталях.

Следует заметить, в те годы, когда эхо войны ещё отдавалось на каждом шагу, служба в армии считалась не просто «почётной обязанностью гражданина», но большинством призывников воспринималась как своего рода посвящение во взрослую жизнь (сравнимое с инициацией в первобытном обществе или конфирмацией у нынешних англикан). Армейская романтика, конечно, отличалась от воровской, но также была характерна для дворовой среды, а «дембель» считался таким же «крутым», как только что «откинувшийся с зоны».

На срочную службу тогда призывали с девятнадцати лет, и продолжалась она три года, на флоте — даже четыре (в наши годы срок службы сократился до двух лет, а служить стали с восемнадцати, но всё равно с нынешними двенадцатью месяцами не сравнить). Для юношей из деревень и рабочих посёлков, то есть для подавляющего большинства, повестка в военкомат становилась «путёвкой в жизнь», ведь отслужившие в армии могли поступать в институты на льготных основаниях. Возможность получить высшее образование — ныне практически поголовная — в те годы была ограничена реальным количеством вузов. А многие стремились поступить в военные училища. И не только потому, что «есть такая профессия — Родину защищать». Офицерские погоны гарантировали полное государственное обеспечение. В послевоенные годы это было актуально и престижно.

Виль Мустафин был не из большинства, видимо, у него в подкорке упрямо зацело (с детприёмника на Красина) подсознательное неприятие любого ограничения свободы. Достойным способом избежать повестки он видел поступление сразу после школы в высшее учебное заведение, где есть военная кафедра. Ради этого учиться надо было на «отлично». И с этим у Мустафина как раз проблем не возникало. Вечно занятая на работе тётя Хадича не имела достаточно времени для проверки домашних заданий, но обладала достаточной подготовкой, чтобы коротко и доступно объяснить непонятную теорему или помочь решить задачу. Да и старшая сестрёнка Чечкэ была для Вилиа хорошим примером. И младший брат переходил из класса в класс с одними пятёрками, каждый год успешно сдавая промежуточные экзамены. Вот только в десятом классе едва не оступился...

Трое одноклассников по окончании школы получили золотые медали, Мустафин же довольствовался одной из двух серебряных... Для Вилиа это считалось не достижением, а скорее наказанием — он тоже шёл на золотую, но в РОНО рассудили, что на один класс столько медалей будет слишком. Зная это, Виль на «золото» и не рассчитывал. Ведь он вообще чуть было не остался без аттестата!

Его судьба оказалась буквально на волоске из-за истории с портретом Сталина. Многим читателям сегодня нужно отдельно объяснить ту давно забытую обыденную обязательку советской жизни. В каждом классе, в «красном углу», между входной дверью и доской, оформлялся стенд с расписанием дня и различной текущей информацией. Обязательным было наличие портрета вожда и какого-либо призыва типа «Учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин». Классный уголок каждую четверть обновляли либо староста, либо редколлегия.

Вилиа Мустафина избирали и старостой класса, и в редколлегию. Классный руководитель поручал ему также зачитывать постановления партии и правительства на часе политинформации, потому что у подростка рано прорезался сильный красивый голос.

Осенью 1952 года, как обычно, пришлось обновить классный уголок. А через день одноклассники обнаружили, что новый стенд кто-то «обновил» грязным следом подошвы. Вряд ли свои на такое способны, поэтому подозрение пало на параллельный класс, занимавшийся в том же кабинете во вторую смену. Их классный уголок располагался в том же углу, на него-то учащиеся 10А и вылили свой «праведный гнев», стали плевать на стенд конкурентов. Один из учеников, рослый и сильный Сорокин, и Вилиа заставил плевать вместе со всеми.

Разразился скандал. На оплётанном классном уголке красовался отретушированный и вырезанный из журнала портрет самого товарища Сталина. Хулиганская выходка десятиклассников вполне тянула на антисоветскую провокацию. Инцидент обсуждался на уровне комитета комсомола. Вёл комсомольское собрание парторг

школы Виктор Янонис, указывая на осквернённый ватман с наклеенным портретом генсека, он грозно scomандовал:

— Встаньте, кто это сделал?

Виль встал. Никто больше не осмелился. Все понимали, что один человек не смог бы извергнуть из себя столько слюны... Тем не менее, прорабатывать начали одного Мустафина. Это казалось настолько несправедливым и обидным, что Виль встал и вышел из класса.

Он ушёл домой, прекрасно понимая, чем ему это грозит. Если Янонис решит выгнать Мустафина из комсомола, то директор вынужден будет исключить изгоя из школы — в те времена общественно-политические институты были важнее общеобразовательных. Выпускник с волчьим билетом не мог поступить в высшее учебное заведение, что автоматически приводит его на призывной пункт военкомата. Но и там, по накатанной наклонной тогдашних оргвыводов, исключённого из комсомола направят не в элитную воинскую часть, а в стройбат, о котором рассказывали страсти, как о штрафбатах минувшей войны.

О, эти мучительные переживания переходного возраста, юношеские терзания! Язык не повернётся назвать их пустяковыми, не стоящими эмоциональных выплесков... В выпускном классе решается судьба всей дальнейшей жизни. И любой незначительный проступок вдруг может перечеркнуть всё! Виль хорошо это понимал. И даже не мог толком рассердиться на друзей-одноклассников, которые вскоре прибежали к нему. Конечно, извинялись, что смалодушничили, не поднялись вместе с ним. Но он тоже должен их понять... Виль понимал, что школьному начальству выгоднее всё свалить на провокатора-одиночку. Групповое участие повлечёт политические выводы, возможно, уже на другом, более серьёзном уровне.

Заодно друзья сообщили: после его ухода было решено собрание перенести. И провести его через день. Мустафин на него просто не пошёл, поскольку был уверен: всё заранее предрешено в кабинете директора школы. Виль готовился к самому худшему. Однако руководство не стало исключать примерного ученика, отличника, победителя математических олимпиад, ограничили строгим выговором и «двойкой» по поведению за вторую четверть.

Мустафину такое решение давало прозрачную отсрочку. Правила игры были строго регламентированы, даже пятиклассник мог бы тогда предсказать, что будет дальше: «двойка» в четверти — это в лучшем случае «уд» за полугодие. И если даже в третьей и четвёртой четвертях ученик примерным поведением заслужит жирные пятёрки, тем не менее, путём простого арифметического сложения, всё равно провинившемуся, но искупившему вину выставят за год лишь «четвёрку». А с четвёркой за поведение аттестаты о среднем образовании в те годы не выдавали, на руки выпускнику полагалась только справка о том, что он окончил общеобразовательный курс. Двери в институты с такой справкой закрыты наглухо, остаётся одна дорога — поступать в техникум, в среднее специальное учебное заведение, откуда на срочную службу забирали всех годных к строевой.

Впрочем, оставался шанс. Крайне рискованный. Не одному Мустафину светила тройка по поведению. Короче, у него появился сообщник. Ибо украсть из учительской дисциплинарный журнал в одиночку непросто, кому-то надо встать «на шухер»... Парочка сумела похитить и сжечь журнал 10-го «а», вместе с которым сгорели все записи о малых и больших прегрешениях целого класса!

Расчёт поджигателей оказался верен — лишившись документально зафиксированных проступков учащихся, учителя не стали никому занижать отметки по поведению, которые тогда имели куда большее значение, чем через десять-пятнадцать

лет (в наши годы на них вообще никто не обращал внимания, практически всем выпускникам пять баллов гарантировались автоматом).

В итоге Виль Мустафин сдавал выпускные экзамены вместе со всеми.

VI

История с портретом Сталина, возможно, имела бы продолжение. Однако пятого марта 1953 года советскому народу объявили о смерти Иосифа Виссарионовича... И началась совсем другая эпоха.

Как обычно, Виль на кухне ночью слушал по радио «Голос Америки», так что о кончине вождя узнал раньше, чем его одноклассники. В школу в тот день Мустафин не пошёл. Знал, что его, как старосту, комсомольца и обладателя громкого голоса заставят выступить от имени и по поручению класса. Кроме того, решил прогулять занятия из банального расчёта, что в такой день вряд ли будут отмечать в журнале отсутствующих и после не потребуют справку о болезни... Больше всего Виль опасался, что на фоне обязательно-показательной демонстрации глубокой скорби он, сын «врага народа», не сможет сдержать на лице «глубокого удовлетворения».

Виль был рад, конечно, что Сталина не стало! Сегодня кто-то может удивиться, дескать, откуда десятиклассник 1953 года понимал то, о чём в обществе открыто заговорят лишь после XX съезда партии, а в печати о сталинских репрессиях публикации широко пойдут лишь с перестройкой в 80-е. Но факт вещь упрямая: в десятом классе Мустафин был уже вполне сформировавшейся личностью, взрослым думающим человеком, который отлично знал, кто такой Сталин, и прекрасно понимал, что он принёс его семье и всему народу. Но быть как все, думать как все — это не про Вилия.

В одном из поздних интервью он, в частности, говорил так: «Первоначально мы думаем, что все мы одинаковы. В детстве это нормально. Но ведь некоторые так считают до конца жизни, до них и в преклонном возрасте не доходит „дуновение мудрости“. Зачатки мудрости — врождённые, они проявляются в детстве. Это страшно, когда с детства начинаешь понимать истину. Сначала и сам не знаешь, не догадываешься об этом. Потом начинаешь встречать, сначала как бы ненароком, доказательства истинности своих детских или юношеских „догадок“».

Что имел в виду Мустафин, объяснить излишне, лично мне такие «дуновения» помнятся с детского сада. С годами, с возрастом, уверен, люди отнюдь не становятся умнее и мудрее. Душа наша вообще не стареет, это тело за долгую жизнь успевает несколько раз поменять все свои клетки, десять раз обновить кровяной состав, внешность наша с годами изменяется до неузнаваемости (увы, не в лучшую сторону), умственные способности, к сожалению, тоже не прогрессируют. Одна изначальная мудрость души остаётся неизменной.

Большинство советских граждан весть о смерти Сталина, разумеется, воспринимало как общенародное горе. И это горе сильнее всего было связано со страхом. С именем вождя связывали Победу в самой страшной и кровопролитной войне, в которой погибло людей больше, чем за все предыдущие сражения в истории человечества! Многие опасались, что со смертью генсека грянет ещё более ужасная война... Кстати, не зря опасались: в конце 2015 года американцы рассекретили стратегические карты Пентагона, на которых в качестве целей для ядерной атаки были обозначены десятки городов Советского Союза — это было бы сто хиросим! Казань на тех картах, само собой, тоже была отмечена крестиком. Да и президент Кеннеди со своими ястребами в период карибского кризиса обсуждал даже не саму возможность послать на СССР стратегические бомбардировщики, но вполне конкретную дату атомного

Армагеддона! Его остановила только неизбежность ответного удара. Мы и сегодня имеем дело с противником, который не задумываясь уничтожит всех нас... однако вряд ли решится нажать «красную кнопку», пока теоретически и гипотетически существует вероятность, что при этом могут погибнуть граждане США. И этим даже маленькая, гордая Куба в 1961 году с помощью Советского Союза оказалась способна запугать Америку!

Да, смерть вождя действительно была страшным переживанием для многих. Только Виль Мустафин тогда уже обо всём судил самостоятельно. Он чувствовал, как один камень с души его свалился. Что будет со страной? Неизвестно, что будет завтра. Но хуже, чем было вчера, точно не будет.

Вместо того, чтобы со всеми в школе (как было по всей стране) скорбеть по генсеку, Виль купил в гастрономе, в Доме Кекина, бутылку водки. Уроки в тот день в самом деле отменили, и друзья-одноклассники нагрянули к Мустафину сразу после линейки, чтобы рассказать подробности траурного митинга. Разумеется, все согласились «по-взрослому» отметить событие. В результате мальчишки напились, стали орать, бузить, дошло до того, что сосед по коммуналке стал гоняться за ними с топором! Можно понять взрослого человека, насколько возмутило его подобное кощунство.

САМАЯ КРАСИВАЯ ОШИБКА

Чечкэ, старшая сестра Виля, окончила среднюю школу с золотой медалью. По слова брата, пятёрки сплошь у неё были не только в аттестате, но даже в дневнике — за все годы учёбы! Вторая сестра, красавица и умница Гуля получила медаль серебряную. Виль планировал продолжить традицию, во всяком случае, мама Зара и тётя Хадича об этом мечтали — это было не столько «делом чести», сколько гарантией поступления в университет вне конкурса.

Но тут судьба сыграла с Вилем очередную злую шутку. Выяснилось, что их школа «переусердствовала», давая ученикам хорошие знания, в итоге слишком много выпускников нацелились на зветные медали. Районный отдел народного образования рекомендовал одного из отличников перевести из разряда претендентов на «золото» в ряды серебряных призёров... Выбор пал на Мустафина, и основания на то имелись. В десятом классе Виль реально «накосячил», за что имел выговор по комсомольской линии. Все понимали, победитель городских и республиканских олимпиад по математике достоин «золота», но ничего поделать не могли. Как нарочно, на выпускных экзаменах Мустафин по всем предметам ответил безупречно, на отлично. Поэтому отнять один-единственный бал нужно было именно на экзамене по математике, которую Виль знал лучше всех в классе!

Спорить с судьбой бессмысленно. Пришлось стерпеть незаслуженную четвёрку в аттестате — и в результате довольствоваться лишь серебряной медалью. Удар по юношескому самолюбию, впрочем, не лишил Виля льгот на поступление в любой институт без экзаменов. Мустафин решил поступать в Московский государственный университет — беспорно, лучший вуз страны.

Привычная аббревиатура МГУ ныне вызывает в памяти красавец-небоскрёб на Воробьёвых горах, невиданных размеров университетский кампус, перед которым развернулась грандиозная смотровая площадка, откуда видно всю Москву, как на

ладони... Должен вас разочаровать, в начале пятидесятых, о которых пойдёт речь, ничего этого не было, а сами горы — хоть и назывались Ленинскими — в те годы являлись собой заросшую окраину. Университетскую высотку только начинали возводить, поэтому Виль Мустафин обращался в приёмную комиссию МГУ по старому адресу — напротив Московского Кремля.

Медалистов зачисляли без экзаменов, тем не менее, для них тоже было установлено собеседование. А собеседование с математиками проводил Пётр Сергеевич Моденов, издавший в 1950 году «Сборник конкурсных задач по математике с анализом ошибок: Задачи, предложенные на приёмных испытаниях в высшие учебные заведения». Его рекомендовали не только абитуриентам, но также для преподавателей математики в средней школе. К слову, сборник оказался настолько успешным, что на его основе уже в нашем тысячелетии потомки Петра Сергеевича (Пособие для поступающих в вузы академика В. П. Моденова, 2002) продолжают готовить абитуриентов!

Виль не просто мечтал о Москве, как мечтали и до него, и после десятки тысяч молодых провинциалов, он именно хотел встретиться с тем самым Моденовым. Ради этого перерешал все задачки из его сборника, находя в том особое удовольствие. Увы, Мустафина до Моденова не допустили. В приёмной комиссии казанским «сиротам» (а Виль ездил поступать вместе с одним из друзей) сообщили, что собеседования с медалистами закончились, списки абитуриентов сформированы. Так что приезжайте на следующий год...

Дело было вовсе не в московской фанатерии, а в элементарной стеснённости университета — старое здание МГУ даже с достроенными до войны аудиторными корпусами не позволяло вместить всех желающих. Оттого и задумал товарищ Сталин строить новый университетский городок — на 100 тысяч студентов. Отметим, до конца двадцатого столетия главный корпус МГУ на Воробьёвых горах оставался самым высоким зданием столицы. Символично и симптоматично, что ныне самыми высокими небоскрёбами столицы стали торговые башни зловеще сияющего, жутко скособоченного комплекса «Москва-сити». Ничего не попишешь — у всякой эпохи свои приоритеты!

Пришлось Вилю Мустафину вернуться домой, чтобы успеть сдать документы на физико-математический факультет Казанского университета. И забыть о своих московских амбициях надолго... В судьбе любого человека никогда нельзя заранее определить — что сложилось счастливо, а что стало неудачей. Судите сами, если бы Виль поступил тогда в МГУ, то — можете не сомневаться — Мустафин стал бы крупным учёным, может быть, даже светилом отечественной науки... но никогда бы уже не был казанским поэтом. А нерождённые стихи, насколько я понимаю, те же дети, не явившиеся на свет...

В Казани, в приёмной комиссии физмата КГУ абитуриента встретил Владимир Владимирович Морозов. Известный математик-алгебраист, бессменный председатель жюри городских математических олимпиад, он вручал Вилю Мустафину, как победителю, почётные грамоты и памятные награды, приговаривая при этом, мол, «теперь к нам, конечно, придёте поступать». Собеседования с медалистами в Казани тоже завершились, уже на завтра был назначен первый экзамен для основного потока абитуриентов. Но Морозов пошёл навстречу «юному олимпийцу». Владимир Владимирович объяснил руководству факультета, дескать, с Мустафиным и так всё ясно, без собеседований. А Виля тут же включили в список отбывающих в колхоз — такой для медалистов придумали «бонус»! Это было в духе советского времени. Всем поступившим в вуз приходилось отбыть примерно месяц на селе, где «абитуру» использовали в качестве дармовой рабсилы на самых грязных тяжёлых работах. В наше

время сию трудовую повинность называли — «отправить на картошку», и никто не воспринимал это, как трагедию, наоборот, мы видели в том романтику!

II

Университетские годы — безусловно, лучшие в жизни! Потому что это не только лекции и экзамены, а прежде всего — общение со сверстниками и сверстницами, совместные мероприятия и прогулки, вылазки на природу. Круг общения Мустафина заметно расширился, в него входили не только математики. Объединяла молодых, как это часто бывает, современная музыка. В наши годы крутыми считались рок-группы Deep Purple и Uriah Heep, Led Zeppelin и Queen, хотя слушали и «Аквариум», и «Ариэль», и «Машину времени».

Виль Салахович такую музыку не признавал, как музыкант он состоялся в пору джаза. Середина пятидесятых для джаза стала поистине золотой порой, потому что в Казани тогда осели «шанхайцы» во главе с Олегом Лундстремом. В его оркестре играл молодой саксофонист Виктор Деринг, который параллельно подрабатывал по ресторанам (это считалось не зазорно, наоборот, престижно) и участвовал в студенческой самодеятельности, в частности, создал первый джаз-бэнд в Казанском университете.

Виль Мустафин пел ещё в школе. Вот и в университете записался в вокальный кружок при студклубе. С ним занималась чуткий педагог, замечательная Татьяна Михайловна Григорьева, о которой Мустафин и полвека спустя вспоминал с теплотой и благодарностью. Она сразу заметила его красивый бас, с первых занятий прививала Вилю основы правильного звукоизвлечения. Там он познакомился со Светланой Жигановой, дочерью выдающегося татарского композитора и ректора Казанской консерватории. И уже через год вместе с ней побеждал в олимпиадах (тогда ещё не названных «Студенческой весной»), сначала были первые места на факультете, потом победы по университету и, наконец, триумф на городской олимпиаде студенческих талантов. Со слов слышавших тогда его выступления, Мустафин впервые блеснул своим басом на сцене оперного театра, исполнив на бис песнь варяжского гостя из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко» на торжественном вечере, посвящённом 150-летию Казанского университета.

Виктор Деринг пригласил Жиганову и Мустафина к себе, университетским джазменам срочно нужны были солисты. Так что в репертуаре Вилия наряду с классикой появились и шлягеры тех лет на французском и английском языках. В университете Мустафин стал личностью популярной. И у противоположного пола в том числе.

Конечно, студенческие годы — самые лучшие в жизни! Мы уже упоминали, как любил Виль загородные путешествия с друзьями. И что самым любимым местом отдыха студентов был летний лагерь на Голубом заливе. Там, от Казани вниз по течению, сразу за Боровым Матюшино и Кордоном, расположены базы разных казанских вузов. Места прекрасные, практически незаселённые, даже сейчас вполне дикие, в те годы просто поражали своим первозданным видом.

Именно там началось необыкновенное приключение, которое серьёзно повлияло на последующую судьбу нашего поэта.

III

С февральско-мартовского пленума ЦК КПСС 1954 года началась кампания по освоению целинных и залежных земель, прежде всего, в казахских степях. Для мустафинского поколения с целиной связана целая эпоха. Начать с того, что к середине пятидесятых СССР испытывал острую нужду в обеспечении населения хлебом

и другими связанными с ним продуктами, животноводство и молочная промышленность тоже напрямую зависят от фуража. Курс партии на ударное повышение урожая зерновых в целом был решён уже в первые годы освоения целины. За три года Советский Союз перешагнул урожайный рубеж в сто миллионов тонн хлеба! И до половины этого каравая давала целина.

Первопроходцами целины были, разумеется, комсомольцы-добровольцы. Во всяком случае, так писали в газетах. Они пахали и сеяли практически в боевых условиях. На уборку урожая сгоняли в том числе и студентов казанских вузов.

В 1956 году Вилю Мустафину тоже нужно было отправляться на целину. Но он до того разомлел на белом песочке Голубого залива, что потерял счёт дням. И выбрался в город на день позже. Приехал домой — а там записка сестры, где сказано, когда выезжает их отряд. Короче, поезд ушёл.

Это грозило строгим взысканием, вплоть до исключения из комсомола, которое, с свою очередь, означало фактически отчисление из университета. Нужно было срочно исправлять ситуацию. К счастью, Мустафин был на хорошем счету. Как победителю городских олимпиад среди вузов, Вилю пошли навстречу. Выписали нужную сумму из кассы комитета ВЛКСМ и отправили в Свердловск самолётом. Так что всё обошлось, и даже обернулось приятным бонусом — первым в жизни воздушным полётом. Состав с целинниками двигался ни шатко, ни валко, на полустанках студенты участвовали в митингах... А Мустафин трое суток проболтался в столице Урала, пока не встретил своих однокашников на Свердловском вокзале. А потраченные деньги вернул с первой получки своему комсору, как и обещал.

На целине Виль встретил знакомых, которых никак не ожидал здесь увидеть. Вместе со студентами на уборку урожая бросили «перевоспитывающихся!» Как мы уже говорили, многие сверстники Вилия попали в исправительно-трудовые колонии «по малолетке» — за драки, кражи и более тяжкие преступления. Срок осуждённым могли сократить «за примерное поведение», заменив на поселение. В общем, тоже не курортно-санаторный режим, но всё не в колонии, не под конвоем! В Казахстане Мустафину приходилось пересекаться с теми, с кем они раньше играли вместе на Галактионовской улице или ходили на танцы в Ленинский сад... Встречи эти не были обоюдно желанными. Блатные не скрывали неприязненного отношения к студентам. Да и Вилю возобновлять знакомства не особо хотелось. Но после он писал, что целину распахивали не одни энтузиасты и добровольцы, основной тягловой массой стали, как было принято в СССР, люди подневольные. В 60–80-е годы эти поселения заключённые назовут «химией» («вставших на путь исправления» стали направлять в основном на вредное производство). Всесоюзные комсомольские стройки тоже не обходились без людей подневольных. В Татарстане примером тому может служить «Нижекамскнефтехим». Но вот КАМАЗ в Набережных Челнах решили строить «чистыми руками», без участия зэков. Говорят, что к такому решению был причастен комсомольский, а затем партийный активист, бывший казанский студент Раис Беляев, четырнадцать лет возглавлявший в Набережных Челнах горком КПСС. Он инициировал мысль, что Всесоюзная ударная стройка должна совершаться чистыми руками. Партийные верхи в Казани и Москве поддержали идею.

«Целинный семестр» для студентов физмата стал испытанием на выносливость, прежде всего, в бытовом отношении. Жить приходилось в условиях не самых комфортных (мягких постелей, мягко говоря, не имелось) и кормили не густо, а работать гнали в самое пекло. Да и природа северного Казахстана не располагала к лирическому настроению. Выжженные степи, безлюдье и бездорожье. Лишь одно придавало сил: всё это скоро кончится.

Однажды сообщили, что под Семипалатинском (на достаточном удалении от них, но всё же...) пройдёт испытание ядерной бомбы. Со студентами провели разъяснительную работу, предупредили, что особо распространяться об этом не следует, тем более, упоминать в письмах. В пятидесятые годы атомное оружие, напомним, ещё испытывали в атмосфере, хотя учёные много чего уже знали о лучевой болезни. Правила гражданской обороны только разрабатывались, оповещать население об угрозе радиоактивного заражения не торопились — испытания проводились в обстановке секретности. Так казанским студентам-целинникам на себе довелось испытать ядерный удар.

Об этом у нас долго ничего не писали. Одним из первых в средствах массовой информации рассказал о тех испытаниях первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, который в интервью главному редактору газеты «Казанские ведомости» Венере Якуповой поделился любопытными воспоминаниями. Как вспоминал Минтимер Шарипович, «припылил „газик“ с военными, вышел офицер и довольно буднично нам объявил: в 14 часов ноль минут произойдёт очередное испытание атомной бомбы. Если случится так, что деваться некуда — не останавливать же уборку, когда поспели хлеба! — то вот имеется предписание, которое следует выполнить по возможности точно... В обозначенный день, в указанное время нужно было отложить все дела и внимательно посмотреть на небо. Сначала появятся самолёты, которые очертят два-три круга, махнут, так сказать, крылом. Это общее оповещение, для нас — сигнал. Дальше нужно было заглушить трактор, покинуть комбайн, лечь на землю животом вниз, а головой в строго определённом офицером направлении — он небрежно махнул рукой, указал... Ну, и лежать себе, отдыхать до тех пор, пока не закончатся испытания очередной атомной бомбы. Правда, когда это произойдёт, уточнять почему-то не стали. Этот радостный момент нам предстояло определять самим — на глазок».

Когда в небе показались самолёты, молодой комбайнёр Шаймиев заглушил мотор, лёг на землю ничком, чтобы зерноуборочная машина прикрыла его от ударной волны с востока. Впрочем, такие меры безопасности не помогли полностью обезопасить себя, и позже у Минтимера Шариповича появились проблемы с поджелудочной (если верить разговорам в редакции тех же «Казанских ведомостей», где я работал), он лечился в Турции, после каждый год проходил курс реабилитации в Карловых Варах. (В прошлом году Шаймиеву исполнилось восемьдесят лет, он до сих пор в строю, работает государственным советником Татарстана и является председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры!)

Примерно такую же картину описал однажды Виль Мустафин, когда речь зашла о целине и Великой степи. Он оказался одним из немногих, кто пренебрёг строгими инструкциями и воочию увидел вспышку ядерного взрыва.

Большинство, конечно, оказалось законопослушным и здравомыслящим, хотя каждый в результате получил свою дозу облучения. Студенты прятались, кто куда. Правда, в голой степи мест для укрытий мало.

Виль боялся только одного: не упустить ни одной детали необычайного события. А зрелище поистине незабываемое. Представьте, в солнечный день в небе вдруг возникло второе солнце, гораздо ярче настоящего. По степи пошла ударная волна — в виде серой пылевой тучи, она двигалась с невиданной скоростью. Вслед за вспышкой на востоке разрастается быстро увеличивающийся в размерах огромный огненный шар, от которого расходятся разноцветные кольца. Сияющая сфера постепенно поднимется и превратится в гигантский клубящийся гриб, отливающий всеми цветами радуги, и не только семью известными, но и невиданными в нашей природе,

несуществующими в реальности цветами, которым и названия не подобрёшь... Само небо несколько раз меняло цвета — от лазоревого до ядовито-зелёного. Ничего похожего в земной сакуале, конечно, нам увидеть не дано. Явление такой небывалой красоты, наверное, можно наблюдать лишь где-нибудь в космосе. Грандиозность происходящего навсегда покорило сознание и воображение Виля Мустафина.

Вечером это событие отметили небывалым ужином, на полевой стан из совхоза привезли целую машину арбузов! Сказали, что бахчевые нужно есть как можно больше, чтобы промыть организм. Наверное, в какой-то мере это действительно помогало выводить нуклеиды.

Для Виля Мустафина это семипалатинское событие стало памятным ещё и потому, что именно с ним он связывал проснувшуюся вдруг у него тягу к стихосложению. Поэтому мы воспроизведём его рассказ дословно (по книге «Дневные сны и бдения ночные», 2010, стр. 355): «Потом нас на целину привезли. Там главным было такое событие: проходили испытания ядерного оружия. Уже была пора водородных бомб. Никто ничего, конечно, не знал. Там ездил какой-то капитан-лейтенант и предупредил, что завтра испытания. Люди к этому уже привыкли.

Совхоз «Казанский» — это всё были выселки из Казани, самая шпана. У них в Ленинском садике была танцплощадка, я их всех в лицо знал. Это никакая ни комсомольская целина была. Это всё выселки, как полулагерь. Они не в тюрьме, но их заставили уехать вместо срока. У них там семьи, дети растут. Я у одного из них спрашиваю, что делать-то. Он говорит: «В прошлый раз приезжал, велел заклеить окна. Как трахнуло — вместе с рамами окна вылетели».

И вот — такая картина: в зените парит солнце, а из-за горизонта встаёт ещё одно солнце. Быстро возникает и растёт в размерах. И мы разомлевшие, с открытыми ртами его наблюдаем. Джерри Камалов, наш комсорг, говорил мне: «Виль, ты напомни мне, чтобы я взял фотоаппарат, сегодня будет взрыв». Но он всё-таки аппарат забыл. Такая красота от начала до конца! А нас на военном деле учили — «ногами к взрыву, ложиться, закрывать лицо». Мы смотрели, открыв пасть. Это чудо! Из искусственных явлений, красивее я не видел: сочетание цветов, фона.

Впоследствии медики обнаружили, что у меня щитовидной железы нет. Опять же у меня в поколениях никто не пил, а я вдруг начал. Это всё после 56-го, после целины я начал потихоньку спиваться. Студентка наша, Степанова умерла от лейкозирования. Годы проходят, а люди умирают неизвестно от каких болезней. Причины смерти пишут разные, а умирают люди от радиации.»

МУЗЫКА СМЫСЛА

По признанию самого Мустафина, он зарёкся заниматься сочинительством, всегда гнал от себя рифмы, помня, как оборвалась жизнь отца-филолога. Но стихия стихов прорывалась на волю из заточения точных наук. Напрасивалось сравнение поэзии с математикой, которую Виль обожал, в её строгости и стройности усматривая высший смысл и гармонию. Впрочем, и в музыке было много от математики, соразмерность и созвучность позволяли точно «поверить алгеброй гармонию». В поэзии также можно обнаружить особое родство с музыкой и математикой. Мустафин называл поэзию «музыкой смысла». Как любое определение, конечно, и это не безупречно. Но нельзя не признать, что данная формулировка имеет право на существование.

Молодые поэты Казани в конце пятидесятых получили возможность посещать литературное объединение имени В. Луговского при Союзе писателей ТАССР. Первое

время им руководил поэт-фронтовик Геннадий Паушкин. И как считали сами участники лито, он был хорошим руководителем — хотя бы тем, что не вмешивался в читки и обсуждения, споры и дискуссии.

В Доме печати на улице Баумана помимо правления СП и руководства Татарского книжного издательства обитали редакции всех периодических изданий республики, администрация типографии, где печатались книги, газеты и журналы. Как тут не вспомнить в скобках, что тот «Гажур» создавал Салах Атнагулов! Впрочем, Виль старался этого не вспоминать. Хотя был несказанно рад, когда литобъединение переселили в литературно-мемориальный музей А. М. Горького, что на перекрёстке улиц Галактионова и Жуковского, то есть буквально в двух шагах от мустафинского дома!

Снова в их коммунальной квартире, на общей кухне, собирались его друзья, собратья по перу, когда из музея их выгоняли на улицу, а расходиться по домам не было никакой охоты. Чем заканчивались ночные посиделки, нетрудно вообразить. Представим такую картину: рано утром соседи по квартире поднимаются на работу, идут готовить завтрак — им приходится перешагивать через поэтов, спящих на полу вповалку. Соседи у Мустафиных были мирные, отношения в коммуналке сложились самые добрые, и к чудачествам Вилья все давно привыкли. Было время, когда на кухне переобувались мальчишки из школы, чтобы прямо на коньках махнуть через забор (потом сколотили калитку) и попасть на каток стадиона «Динамо» без билета. Теперь мальчишки выросли — и всю кухню прокурили, до утра кричали и смеялись... Одно слово, поэты!

I

Поток поэзии подхватил в те годы не одного Мустафина. Столько написано-переписано о поэтическом буме конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, равно которому не было никогда — и уже никогда не будет. Помимо вечно поминаемой обоймы прославленных шестидесятников — Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и Роберта Рождественского, конечно, было много и других ярких имён, кто тогда был на слуху — и Давид Самойлов, и Семён Кирсанов, и Арсений Тарковский.

Но Виль Мустафина больше заинтересовал самиздат. В студенческой среде всегда можно было найти старую книгу довоенного, а то и дореволюционного издания, но чаще машинную перепечатку на папиросной бумаге. Этим объясняется появление на поэтическом горизонте тех лет имён, вычеркнутых сталинской эпохой, прежде всего, поэтов первой волны эмиграции, а также расстрелянного Николая Гумилёва или повесившейся Марины Цветаевой... Да что там, даже Есенина с Маяковским молодые «шестидесятники» открывали для себя заново! Ведь «поэта революции» в школе проходили строго дозированно: стихи о советском паспорте, «здесь будет город-сад» да «светить всегда, светить везде». Даже если зададут прочесть поэму «Хорошо!», то ни словом не заикнутся о поэме «Плохо».

Виль читал запоем, поглощал стихи жадно, особо понравившиеся выписывал своим изящным летящим почерком в тетради с математическими конспектами. И многое запоминал наизусть. В этой любви к чужим строчкам просматривалась серьёзность отношения к поэзии. Мне не раз доводилось быть свидетелем любви настоящих поэтов к творчеству других, порой не известных авторов. Скажем, наш сокурсник по литинституту Анатолий Богатых мог часами декламировать стихи Николая Гумилёва. А Игорь Меламед помнил наизусть чуть ли не всего Бориса Пастернака. Вот и Николай Алешков сегодня может в течение дня — по какому-либо поводу (и без) — привести подходящую к моменту строчку, строфу или целое стихотворение Николая

Рубцова. У прозаиков я не замечал такой любви к рассказам и повестям других авторов. Про драматургов не станем говорить, их и так мало, их пожалеть нужно...

Виль Мустафин всегда говорил, что главным его потрясением в поэзии конца пятидесятых — начала шестидесятых годов стали стихи Марины Цветаевой. И первое знакомство с ними случилось по рукописным альбомам, девичьим дневникам, куда записывали любовную лирику, откуда переписывали понравившиеся стихи. Виль сразу отметил стиль цветаевских произведений, её резкие образы, нервную интонацию... Потрясением стали передаваемые тогда из уст в уста рассказы (писать об этом запрещалось) о том, что Марина Ивановна в самом начале войны эвакуировалась с сыном в Елабугу... Могила Цветаевой затерялась на кладбище, где за годы войны хоронили и елабужан, и эвакуированных, и раненых, и военнопленных японцев. И мало кто помнил опальную поэтессу, сын которой сгинул на фронте...

Виль не раз рассказывал, как в начале шестидесятых поехал в Елабугу, чтобы разыскать могилу Марины Цветаевой. Конечно, не нашёл. Он провёл на кладбище всю ночь... Согласитесь, красноречивая деталь биографии двадцатилетнего человека, математика и певца, начинающего поэта... Далеко не каждый решился бы на такое. Один из наших общих знакомых уточнял, что на кладбище Виль был не один, а с бутылочкой... Но что из того? Общеизвестный штамп «выпить для храбрости» — обычное заблуждение трезвенников. Под воздействием алкоголя чувства только обостряются. Лучше сказать, это было очередное испытание себя, желание ощутить страх и запомнить, что это такое. Именно той ночью начинался его диалог с Мариной Цветаевой, который полвека спустя станет книгой «Беседы на погосте». Это были именно беседы, ведь стихи Цветаевой стали для Виля Мустафина частью души, они отзывались реально в его сердце, он слышал точно интонацию самой Марины Ивановны! Никакой чертовщины и мистики, никакой полемики или позёрства. То, что той ночью испытал Виль на елабужском кладбище, после не раз посещало его по ночам, их беседы продолжались много лет — и конечно, далеко не все вылились в конкретные стихи — ответы Виля Мустафина на вопросы Марины Цветаевой:

*Идѣшь, на меня похожий,
глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!*

Виль остановился, оглянулся, вслушался в этот призыв оттуда... Его книга «Беседы на погосте» вызывала много споров, можно или нельзя так обращаться с классиками, да и с покойниками. Точка была поставлена на Международных Цветаевских чтениях-2014, когда Мустафина удостоили литературной премии имени М. И. Цветаевой.

В том году премия впервые присуждалась автору посмертно. Отметить книгу Виля Мустафина «Дневные сны и бдения ночные» (2010) первым предложил член жюри Николай Алешков. Но решение организаторам Цветаевских чтений далось не просто. Поначалу директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко не соглашалась с мнением членов жюри, возражая, что премия ранее присуждалась только живым поэтам, представившим на конкурс свои новые книги. Выход из положения подсказала известная елабужская поэтесса, член Союза российских писателей, мудрая Наталья Александровна Вердеревская. Она предложила присудить премию 2014 года сразу двум поэтам — так лауреатами стали Евгений Ростиславович Эрастов, доцент Нижегородской

медицинской академии, за сборник стихов «Язык травы» и Виль Салахович Мустафин за сборник «Дневные сны и бдения ночные», изданный после смерти поэта.

Премии получала его вдова Галина Михайловна Килеева. Гульзада Ракиповна, вручая ей диплом, согласилась, что члены жюри оказались правы.

Добавим, что Вердеревская с юности была подругой Чечкэ Мустафиной и знала младшего её брата, когда тот ещё не стал поэтом. Наталья Александровна потом любила общаться с Вилем Салаховичем, высоко ценила его поэтический дар.

II

В литобъединение Мустафина привёл друг детства и юности Рустем Кутуй. Сын классика татарской литературы стал печататься одним из первых в лито, его поэтические и прозаические сборники выходили не только в Казани, но и в Москве. По окончании филфака КГУ Рустема Адельшевича пригласили на работу в художественную редакцию только создававшейся Казанской студии телевидения. В частности, он готовил один из первых телевизионных мостов, что состоялся в прямом эфире — между Горьким и Казанью.

Разумеется, Рустем пригласил для участия в телемосте и своего друга Виля, тогда аспиранта, подающего надежды математика и участника литературного объединения. И конечно, никто не ожидал, что разразится скандал.

Передача шла в прямом эфире, тогда не было технической возможности видеозаписи и монтажа. Поначалу всё шло вполне предсказуемо, в рамках заранее написанного и утверждённого инстанциями сценария. Как и все участники телемоста, Мустафин заранее представил свои стихи в редакцию художественного вещания, где ему предложили прочитать отрывок, то есть даже не всё стихотворение, а отобранный редактором отрывок (от сих до сих). Когда дошёл черёд до Виля, то он поступил вопреки — и не мог иначе. Он прочёл своё стихотворение «За!», ставшее сразу знаменитым, распространявшееся потом самиздатом.

*Вы, что хором неистовым: «За!..», —
затверженно, заученно, заранее — «За!..», —
обернитесь назад:
за раскатами зала «За!..» —
расстрелов залпы,
за этим «За!..» рёвом —
дети зарёванные
толпами, толпами...*

*А вы «За!..» были...
Вы забыли,
как вами —
как булавами,
как в живот ногами —
вами били...
Вы — без памяти, —
снова тянете
руки вверх,
как «Руки — вверх!» —
голосуете...*

*Голосуйте, —
суйте в петли головы,
суйте...*

Как мы уже говорили, видеомagneтофонов тогда не было, так что записи того дерзкого выступления нет. И очевидцев телемарафона сейчас трудно найти. Тем не менее, до наших дней дошла легенда, будто Мустафин пытался изящно вывернуться, дескать, эти строки родились под впечатлением решений британского парламента... Специалистов из «конторы глубокого бурения» (как тогда расшифровывали КГБ) на такие сказки не купишь. Вилем Мустафиным занялись серьёзно, хотя с самого начала поняли, что с сыном расстрелянного «врага народа» (Салаха Атнагулова реабилитировали в 1957 году за отсутствием состава преступления) договориться не получится.

В комитет, на «Чёрное озеро» тогда таскали практически всех мустафинских друзей. Да и некоторые университетские сокурсники, как оказалось, работали в КГБ. Через них Виль и узнал о своей участи — публиковаться ему не дадут, ни в каком виде и ни при каких обстоятельствах. Защититься после аспирантуры он сможет, математикой заниматься ему никто не мешает. На поэтической карьере можно ставить крест.

И друзьям по литобъединению Мустафин заявил, что больше писать не будет. Тень отца являлась ему кровавым напоминанием. Виль ушёл из лито (по крайней мере формально) и даже консерваторию бросил, чтобы целиком посвятить себя математике. Так было на поверхности. Что происходило в глубине его души — останется для всех загадкой. Но от поэзии уйти невозможно. Стихи приходят сами.

Поэзия для Вилия Мустафина всегда стояла в общем ряду с музыкой и математикой, и во всех трёх ипостасях своих он был необыкновенно одарённым человеком. Музыканты говорят — абсолютный слух. Не знаю, как в математике, но в поэзии точно без «абсолютного слуха» не обойтись.

Виль Мустафин обладал таковым без всякого сомнения. Доказательством тому, хоть я и не математик, считаю выведенную однажды теорему: настоящие поэты, по моему наблюдению, стихи чужие часто любят больше, чем свои собственные сочинения! За примерами ходить не надо — каждый может сам привести их множество. Виль Мустафин восхищался стихами других авторов, порой совсем ему неизвестных, много лет бескорыстно помогал начинающим авторам.

О тех далёких годах их общей молодости в романе «Я» написал Диас Валеев, который познакомился с Вилем Мустафиным как раз в литобъединении при музее Горького. Себя в романе Диас Назихович вывел в образе главного героя Бахметьева, а Вилия Мустафина и его друзей представил под их собственными именами. И даже процитировал ряд мустафинских стихотворений той поры, в том числе и легендарное «За!..»

Позже, к 70-летию поэта, Диас Валеев опубликовал в журнале «Казань» большую статью «Путешествие в ночь» о жизни и творчестве Вилия Мустафина. Она стала первым подробным и серьёзным исследованием мустафинской поэтики. Конечно, не бесспорным, сугубо валеевским, оно особенно ценно именно тем, что было первым в печати прижизненным признанием поэта. Само название статьи говорит об отношении автора к стихам друга. Чтобы не быть «испорченным телефоном», рискну перейти на прямое цитирование:

«Стихотворные книги Вилия Мустафина — крайне интересный опыт катакомбного, совершенно изолированного от контакта с читателем развития поэта. Почти сорок лет этот суперкоммуникабельный человек если не ежедневно, то еженощно писал стихи в полном, если не в абсолютном, отрыве от читателей. Он не публиковался, не печатался ни в газетах, ни в журналах. Не совершал даже ни малейших попыток

к этому. И лишь в последнее десятилетие XX века его стихи стали появляться в печати, а на самом излёте столетия вдруг вышли к читателю роem книг, правда, тиражом почти штучным. Акцентирую внимание на этих сорока годах. Да, сорок лет на моих глазах и на глазах многих шло глубокое, внутреннее, подпольное, катакомбное развитие поэтической мысли. Это вообще большая редкость. Непросто выдержать всё возрастающее напряжение одиночества всех этих лет. Я знаю по себе, что это такое. С восемнадцати лет по тридцать три — пятнадцать лет — меня практически не печатали. Появлялись отдельные публикации, но они были случайными и не делали погоды. Пятнадцать лет в жизни творческого человека это очень много. Я прорвался в литературу в 1971 году, а в девяностых годах опубликовал впервые довольно много текстов, которые были написаны мною в шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы. Таким образом, некоторые тексты лежали у меня в столе тоже десятки лет. Я говорю об этом для того, чтобы было понятно, что значили эти сорок лет для поэта, когда он абсолютно не мог проявить вовне своё „Я“. Это ужасно, когда тексты, созданные тобой двадцать-тридцать, сорок лет назад, лежат невостребованными на стеллажах, в ящиках письменного стола, в папках, в коробках. И вдруг через сорок лет — это случилось у Вилия Мустафина в 1999–2000 годах — он вышел из камеры, в которой находился. Это подобно разрыву бомбы. Подобно выходу человека из тюремной камеры после долгих лет заключения. В эти минуты возникает необыкновенное ощущение духовного опьянения. Я помню, когда в прошлом году впервые опубликовали в журнале мои рассказы, написанные ещё в 1957 году, я смотрел на эти журнальные публикации как на какое-то совершенно невысказанное чудо. И вот сорок лет поэт в одиночку, без свидетелей (единственным свидетелем была разве только жена) вёл свой бой, своё пожизненное сражение. Моисей сорок лет водил по пустыне свой народ. Поэт Виль Мустафин сорок лет водил по пустыне свою Музу.»

Как видите, у Диаса Валеева собственный угол зрения на поэзию Вилия Мустафина. Он даже видит общий диагноз — «репрессированное сознание», свойственное всем, пережившим арест родителей в сталинские годы. Сам Диас Валеев хорошо помнил, как в их квартире проводили обыск, а посему имел право распространять свойства своей памяти на психические особенности своих сверстников. Так катакомбность поэтики Вилия Мустафина получает обоснование. Тем не менее, Диас Валеев считал, что яркое выступление Вилия Мустафина с резкими социальными стихотворениями в шестидесятых годах на телевидении стало рождением большого поэта... но дальнейшее его «молчание» стало поэтической смертью. Возвращение в конце девяностых годов, по мнению Валеева, оказалось запоздалым и неубедительным. Новой поэтики Вилия Мустафина, его религиозной и философской поэтической мысли, Диас не воспринимал. Не принял как писателя, как приятеля. И остался в убеждении, что Виль Мустафин напрасно «зарыл в землю свой остросоциальный талант».

III

В декабре 2008 года Виль Салахович согласился быть ведущим презентации моей первой книги «Драма диасизма», посвящённой драматургии Диаса Валеева. Мустафин подробно разбирал моё сочинение, в целом одобрительно о ней отзывался, хотя к творчеству своего товарища по литобъединению относился неоднозначно. Его выступление в Доме актёра было блестящим. Валеев тоже сидел «в президиуме», тоже много и хорошо говорил. Никто не мог предположить, что это их последнее публичное выступление... Диас Назихович тогда редко выходил из дома, часто лежал в больнице. Да и Виллю Салаховичу болезнь вскоре серьёзно даст о себе знать.

Он готовился к операции, когда в его домашнем кабинете мы вдруг заговорили о его предстоящем юбилее (Виль всегда говорил, что не доживёт до своего 75-летия, к сожалению, так и случилось) и моём желании написать о нём книгу — такого же примерно объёма и содержания, что и «Драма диасизма». Мустафин не возражал, первым делом достал с полки распечатку книжного формата — копию статьи Михаила Белгородского. При этом дал понять, что лучше о его творчестве ничего не написано.

Продолжения разговора не последовало, два месяца спустя Виля Салаховича не стало. А Михаил Натанович тогда жил в Америке, на мои письма по интернету не отвечал... Однажды посчастливилось встретиться с ним в Казани, у памятника Державину, в Лядском саду. Это был последний приезд Белгородского на родину. При разговоре с ним я лишний раз убедился, насколько Михаил Натанович любил Виля Мустафина — как друга и как поэта. В то же время, видел, насколько Белгородский погружён целиком в изучение «Розы Мира» Даниила Андреева. Всё остальное казалось ему слишком малым, далёким, второстепенным... С другой стороны, стало понятно, почему он отыскивал в творчестве друга, прежде всего, сближения с экофилософией.

С Михаилом Натановичем Белгородским я познакомился намного раньше, чем с Вилем Мустафиным, ещё в пору моей журналистской молодости, в редакции газеты «Молодёжь Татарстана», где Белгородский делал первые свои публикации о Данииле Андрееве. И даже однажды побывал у него в гостях — но не дома, а на службе, напротив музея Горького тогда была электрическая подстанция, снабжавшая троллейбусные контактные линии, а Белгородский там работал сутки через трое — дежурным диспетчером (возможно, должность как-то иначе называлась, не помню, как и не знаю, сохранилась ли та старая избушка на кирпичных ножках) и был доволен, что служба даёт достаточно свободного времени для занятий творчеством. Белгородский тогда печатался в ряде изданий, готовил различные публикации андеграундных поэтов (в том числе и первую подборку стихов Виля Мустафина).

Вот и с нами, «молодёжниками» Михаил Натанович решил сотрудничать, когда мы с Алексеем Красновым предприняли издание нового журнала (со старым названием «Ребус»), специально для которого Белгородский написал замечательную статью «О видениях», где приводил документальные факты не только явления Божией Матери в португальской Фатиме (1915–1917), ныне широко известного, но и впервые в СССР (!) рассказал о куда менее знаменитых, но более масштабных и лучше задокументированных многократных явлениях Девы Марии на крыше коптского православного храма в каирском пригороде Зейтун (1968), где Богородицу видели тысячи очевидцев и не только христиан (Египет — страна преимущественно мусульманская), а также десятки журналистов со всего мира. Позже подобные чудесные явления Богородицы отмечались в России и на Украине. Также в статье говорилось о духовном наследии Даниила Андреева. В общем, эта программная статья открывала второй номер за 1991 год (я был редактором того журнала) и стала сенсацией. В том же номере Михаил Натанович представил неизвестные стихи Владимира Высоцкого и сонеты Райнера Марии Рильке в переводе своего друга, казанского поэта и композитора Лоренса Блинова.

В той статье, распечатку которой подарил мне Виль Салахович, а Михаил Натанович любезно разрешил использовать в работе над книгой о Мустафине, даётся совсем другая оценка творчеству поэта. Белгородский сравнивает поэтику Мустафина не только с метафилософией Даниила Андреева, но также с поэзией Владимира Высоцкого. И без труда находит общее у таких, казалось бы, совершенно не похожих авторов, никак не пересекающихся и не совпадающих ни в жизненном пути, ни

в творчестве. Недавно сообщили, что Белгородский умер в Америке, а все его труды, собранные на сайте, посвящённом творчеству Даниила Андреева, теперь заблокированы... Поэтому я сейчас держу в руках отсканированные страницы с 375-й по 381-ю, но не знаю, из какой монографии они вырваны. Вероятно, это сборник научных статей, посвящённых проблемам метафилософии истории, вряд ли кто-то сможет теперь уточнить... А потому я снова прибегну к цитированию, чтобы хотя бы так донести до читателей тексты, возможно, безвозвратно утраченные в руинах интернета.

Статья предваряется замечанием, что данное «эколого-культурологическое исследование предпринято с целью раскрытия роли андеграундных поэтов XX века, на примере творчества Д. Андреева, В. Высоцкого и В. Мустафина, в воспитательном процессе и формировании экоэтического, экоэтнического, экорелигиозного, экобиологического и других видов сознания человека».

Далее автор проводит исследование поэтических вселенных трёх таких разных русских поэтов. Даниил Андреев давно и по праву считается классиком литературы, хотя универалистская метафилософия «Розы Мира» до сих пор не введена в научный оборот. Стихи Владимира Высоцкого давно на слуху у миллионов русскоговорящих сограждан... Но при этом Белгородский между ними помещает мало кому известного андеграундного поэта, своего друга Виля Мустафина. И находит в их творчестве немало сближений.

Их сравнение кому-то, может быть, покажется нарочитым, притянутым. Не стану вас разубеждать, приведу лишь один пример из той статьи, сохраняя все курсивные и иные выделения шрифтом:

«Андреев — **биоцентрист**, ярый противник антропоцентризма: *„Легенда о ‘венце творения’, это наследие средневековой ограниченности и варварского эгоизма, должна будет вместе с господством покровительствующей ей материалистической философии развеяться как дым“*. За десятилетия до западных экофилософов он провозгласил, что каждое живое существо имеет *„автономную ценность безотносительно к его полезности для человека“*. Духовидец категорически возражал против вивисекции животных в школе и вузе, против охоты и рыбалки, считая, что у нас нет абсолютно никакого права покушаться свои удовольствия ценой страданий и смерти живых существ. С ним полностью солидарен Высоцкий, об этом буквально кричат его песни *„Охота на волков“*, *„Охота на кабанов“*, *„Охота с вертолётá“*... Биоцентризм Андреева укоренён в его сакральной экологии: души животных и стихиили царства растений, пройдя свой путь становления в восходящих мирах, в конце концов, вместе со всеми человечествами Шаданакара достигнут высшего трансфизического слоя, доступного богосотворённым монадам — Элиты Шаданакара. Мустафину внятна эта сакральность: когда он очаровывается верблюдами с *„ликами неверблужьими“*, то, похоже, возносится духом в Эрмастиг — мир душ высших животных. И если Высоцкий воспевал *„заповедные и дремучие Муромские леса“*, то Вилю Салаховичу довелось услышать *„сказ о превращении растений“* и дожидаться срока, когда они *„улетают“*.

Я от себя могу добавить в подтверждение мысли Михаила Белгородского, что экоэтическим и экобиологическим проблемам посвящена «Сорочья баллада» (2006), кстати, самое значительное по объёму сочинение Виля Мустафина, который не жаловал большие формы в лирике, и кроме двух венков сонетов (по 210 строк каждый), ничего более длинного не написал.

А поэма о сорочьей семье действительно бесподобна! В ней рассказывается реальная история многолетнего общения Виля с сорочьим семейством, которое свило гнездо на уровне четвёртого этажа, на огромном ветвистом древе — прямо перед окном мустафинского кабинета. И птенец, только вставший на крыло, всё лето приземлялся

на подоконник, умилая Виля Салаховича доверчивостью и непосредственностью, но раздражая своей нахальностью мустафинского любимца-кота! Так продолжалось несколько лет... Покуда вдруг сороки-сородичи, угнездившиеся на старом тополе, не разобрали добротное жилище — и по веточке не перетаскали в другое место. Мустафин долго не мог понять, с чего соседки-сороки, уже узнававшие Вилю, как давнего знакомого, так спешили переселиться? Разгадка оказалась ошеломляющей! Бли-



Виль Мустафин с Галей и Артуром

же к осени на Казань обрушился знаменитый ураган. И старое дерево обвалилось.

После этого вы по-прежнему готовы утверждать, что человек — венец природы? Что братья наши меньшие ничего не понимают? Не справедливее ли рассудить, что даже птицы во многом превосходят нас в своих невероятных способностях?

Много позже, издавая избранные стихотворения мужа, Галина Михайловна попросит художника Альберта Галимова, друга своего сына, нарисовать вид из того окна — для обложки сборника. Но обязательно со старым деревом!

У замечательной поэмы имеется очаровательный пост-скрипtum.

*А потом через годик, затем через два
прилетали сорочки к окну моему, —
оперившись едва, обучившись едва
и летать-то... Что надо им было?... Уму
не понятно... Быть может, прародина-мать
буждала малюток сюда прилетать?..*

Согласно своей же теории, в «Сорочьей балладе» Виль Мустафин раскрывается сразу весь и целиком, в лёгкой ироничности и философской глубине. В 250 строк уместилась целая жизнь. Не выдуманная, как и сама история о сороках-белобоках. И я ничего не выдумываю, когда пишу эти строки — и вижу, как за моим окном, на старой и корявой соседской яблоне танцует, перепрыгивая с ветки на ветку, точно такая же сорока, какая десять лет назад заставила Вилю Мустафина задуматься о тайнах бытия и написать свою великолепную поэму.

IV

В своих экофилософских рассуждениях о творчестве трёх поэтов Белгородский подметил важное родство: «Мустафин, у которого для стихотворчества оставались только ночные часы, замечает обитателей эфирных миров, видит, „какие чудные созданья / вершат ночами свой полёт“... и пусть при этом нет той остроты зрения, как у духовидцев, но, поскольку вообще дар настоящего поэта — от Бога, можно всё-таки прозреть в „невидимые дали бытия, где царствуют красоты неземные“, где живут „прозрачные народы“ и текут „воды, не похожие на воды“. Когда Мустафину открывается

настоящая Родина, что „светится призывом млечным“, читатель легко идентифицирует её со страной просветлённых российских душ (затомисом) — Небесной Россией, о которой, в частности, сказано: „если мы вспомним сиринов и алконостов наших легенд, мы приблизимся к представлению о тех, чьё присутствие украшает жизнь в затомисах Византии и России: «о представлению о существах, предопределённых стать потом ‘солнечными архангелами’. Андреев спрашивает: ‘Видишь крылья Гамаюновы, / Чуешь трель свирели, — чью? / Слышишь пенье Алконостово / И смеющиеся клиры / В рощах праведного острова, / У Отца светил, в раю’. И Высоцкий (часто он писал стихи тоже ночью) отвечает: ‘Птица Сириин мне ласково скалится, / Веселит, заывает из гнёзд, / А напротив тоскует, печалится, / Травит душу чудной Алконост».

Белгородский очень любил стихи Виля Мустафина. И старался не терять с ним связь, когда по болезни жены вынужден был перебраться в США (там жили дети, там вскоре супруга и умерла...) Помнится, на скамеечке в Лядском саду мы очень хорошо с ним говорили. Михаил Натанович подробно рассказывал об американском «рае», сколько пришлось потрудиться, чтобы со временем обеспечить себе мизерное пособие, дабы заняться, наконец, главным делом своей жизни — изучением универсалистского учения Розы Мира, творческого наследия Даниила Андреева, философским осмыслением современного этапа метаистории. Белгородский убеждён, что надежды Даниила Андреева на возрождение России и её всемирной миссии, увы, не оправдались: «В 1993 г. расстрел Белого дома возвестил о кончине Третьего Жругра — демона коммунистической государственности. Его сменило ещё более страшное, неуязвимое демоническое существо, предсказанное Андреевым в „Железной мистории“ под именем Чудовищного Червя. Мустафин, принадлежащий к следующей генерации странников, выразил это ёмкими строчками: „И бесконечна ночь, / и темень — уж подкожна... / И жить уже — невмочь, / и умереть — безбожно“. Странникам противостоит мощный пласт homo soveticus, которых Андреев назвал „отбросами народной души“, а Мустафин подаёт в образе „быдла, искренне блажного“. В сталинскую эпоху этих существ окружал, как выразился Андреев, „пропотевший уют человеческих стойл и квартирок“. В эпоху застоя Высоцкий изобразил дом, который „погружён во мрак, всеми окнами обратясь в овраг“, полный „смрада, где косо висят образа“. Его обитатели „скисло душами, / опрыщавели“. В мустафинском цикле стихов „Плач по Росситюшке“ этот пласт демоса, возникший как результат плановой отрицательной селекции, которую проводили большевики, предстаёт уже в виде страшной, можно сказать, босхианской картины, — в какой-то огромной посуде копошатся некие полулюди-полуублюдки, и поэт не может понять, „то ли баня у них, то ль у них водопой»...

Краткий курс истории СССР Виль Мустафин даёт в одной строфе: «Россия сгнула в гражданскую войну... / Ну, а потом уж всё пошло по кругу: / украли власть ублюдки и страну / несчастную пустили на разруху». И дальше — как раз об этой отрицательной селекции в нашем народе, которая была осуществлена впервые в мире: «А ныне воем взвыли раб и смерд, что здесь от вражьей крови народились...» Селекция коснулась не только быдла, необратимые изменения произошли и в поводырях этих слепцов, в человекоорудиях Червя: в них «зло облеклось в чистопородность», и нет такого злодеяния над собственным народом, на которое они не окажутся способными ради своего благополучия. Собственно, это предсказал ещё Венедикт Ерофеев: «я ничего от них не жду, вернее, ... жду от них сказочных зверств и несказанного хамства».

Михаил Натанович и его супруга очень радовались, когда узнали, что Виль решил принять православие. Ранее их самих в храме Ярославских чудотворцев окрестил их общий друг и коллега по ГНИПИ-ВТ, а позже священник Игорь Цветков. Он же крестил Мустафина и его супругу с внучкой. В заключение своей статьи Белгородский

писал: «Виль Салахович принял православие, закономерность этого шага очевидна хотя бы из его глубочайшего стихотворения „Успеть закрыть глаза...“ — о распятии Христа. Но у Мустафина нет никаких иллюзий и в отношении РПЦ. Андреев констатирует, что она „издавна заняла позицию духовной союзницы государства, позднее из союзницы превратилась в помощницу, потом в слугу, а при Третьем Жругре — в рабу“. Вот почему Высоцкий ещё в брежневские времена кричал: „Нет, и в церкви всё не так, всё не так, ребята!“ Мустафин же понимает, что Червь практически завершил демонизацию церкви: „гудят и гундят сатанинские своры, разодетые в ризы церковных икон“.

Закончу тоже цитатой: «Не только трансфизика, но и метаистория (наука, провозглашённая Сергеем Булгаковым и практически развёрнутая в „Розе Мира“) раскрывает поэтам свои тайны в часы ночных бдений... Ночь — часто встречающееся слово в поэзии Мустафина, но оно употребляется в одном из двух смыслов, а иногда и в обоих сразу. Такой мустафинский образ, как „ночь протянутая в ночь“, показывает, что кроме ночи ежесуточной Россию обволокла ночь эпохальная, мгла преисподней, выплеснувшаяся в Энроф. Это та ночь, где странствовали андреевские „странники ночи“, одним из коих был сам Д. Андреев. Такая Россия была зоной кормления демона коммунистической государственности — Третьего Жругра; для Мустафина она — „Родина... — которой нет и не было».

«Ночь протянутая в ночь» стала для Мустафина излюбленной темой. Ночь надолго опустилась над Россией, выплеснувшись из мглы преисподней и погрузив страну в «бетон отвердевших времён». Всё это, к сожалению, можно отнести не только к временам СССР.

Кстати, Михаилу Натановичу обязан Виль и первыми своими публикациями в конце 80-х, когда Белгородский на страницах обкомовской газеты «Советская Татария» стал публиковать подборки стихотворений казанского андеграунда. За ними последовали всё новые, а через десять лет собралась и книга — наиболее полный свод написанного за тридцать лет.

«ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!»

*Друзья мои, прекрасен наш союз!..
В любви друг другу мы не объяснялись,
мы, может быть, смущались иль стеснялись,
чтоб невзначай сорвалось с наших уст:
«Друзья мои, прекрасен наш союз!»*

*Друзья мои, прекрасен наш союз!..
Мы слов высоких словно бы боялись,
во глубине души они скрывались —
повязаны уздой мужицких уз:
Друзья мои, прекрасен наш союз!*

*Друзья мои, прекрасен наш союз!..
Но той порой, когда брала усталость
и жизнь под гнётом тягот подавлялась,
в сознании неизменно проявлялось —
нежнейшим гласом высочайших муз:
«Друзья мои, прекрасен наш союз!»*

*Друзья мои, прекрасен наш союз!..
И с сердца ниспадет тяжкий груз,
слабеет гуж. И тело распрямлялось,
и тьма во мраке жизни просветлялась,
и сам я — взглядом к небу вознесусь
и повторю, хоть трижды повторюсь:
«Друзья мои, прекрасен наш союз!
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Друзья мои, прекрасен наш союз!»*

До детского сада Виль говорил только по-татарски. Однако, как и все в его годы, окончил русскую школу, а затем общался с сокурсниками на физмате КГУ, писал и думал не на родном для себя языке. Когда начал писать стихи, ориентировался, прежде всего, на русскую классику и сложился в большого поэта, пропустив через себя весь золотой и серебряный века великой русской поэзии. Советский период при этом он пропускал, разве что Марину Цветаеву и Бориса Пастернака выделял особо — ведь с их творчеством Мустафин познакомился через самиздат, их при советской власти запрещали печатать. Кстати, через самиздат в основном распространялась и мустафинская поэзия — вот почему большим поэтом мы называем его, имея в виду масштаб и мастерство, а не известность среди современников.

С некоторыми крупными представителями татарской литературы Мустафин в те годы был знаком, кому-то даже переводил стихи и прозу. Как позже он вспоминал, такие заказы ему «подкидывал» обычно Рустем Кутуй, когда сам не успевал... С годами у Вилы Салаховича сложились дружеские отношения с Гарифом Ахуновым, Аязом Гилязовым и другими аксакалами татарской литературы — ныне классиками, увы, ушедшими... А вот с нынешними как-то судьба не свела, они иного поколения люди. И в Союз писателей Татарстана Мустафин никогда не ходил.

Но в самом конце века, в 2000 году он вдруг вступил в Союз российских писателей. Для многих такой его шаг показался неожиданным. Ведь столько лет он категорически отказывался публиковаться, даже называть себя поэтом не позволяя, и всегда подчёркивал, что он против всяких объединений, вступлений во всякие общественные организации. Для Вилы слово «воля» всегда значило больше, чем просто свобода и независимость. И вдруг он пересмотрел своё отношение к изданию собственных сборников, согласился и на отдельные публикации в периодике.

I

Николай Алешков об этом рассказывает так... Впрочем, сначала несколько слов о нём самом. Челнинский поэт, участник легендарного камазовского литературного объединения «Орфей», выпускник Литературного института имени А. М. Горького, один из самых известных в республике поэтов, член Союза писателей СССР с 1984 года. В Казани он в те годы бывал редко, из казанских поэтов дружил лишь с тёзкой Беляевым. Но Николай Николаевич в начале девяностых годов решил со своей женой Лорой Чернышевой (заметьте, как рифмуются фамилии супругов!) и двумя малыши перебраться поближе к Москве. Он осел в селе Ворша Владимирской области, на автомобильной трассе М-7, и прожил там довольно долго, называя себя в письмах «воршавянином».

Уезжая, Беляев рекомендовал Алешкова своему другу Мустафину — с тем простым расчётом, чтобы Николаю, навещаясь в столицу республики, было куда забрести

на огонёк, чтобы поговорить о поэзии... Николай Алешков любил и оценил творчество и мудрость Мустафина, а Виль Салахович горячо поддержал алешковское начинание — межрегиональную литературную газету «Звезда полей». Финансирование «толстушки» в 24 полосы благородно взял на себя челнинский бизнесмен Ринат Харисович Багдалов. В 1998 году Мустафин приехал на презентацию газеты в Набережные Челны и в своём выступлении сказал, что принял это издание, как родное, целиком, от первой строчки до последней. Виль вошёл в редколлегию «Звезды полей», помогал Алешкову с материалами, и не только своими. Таким же бескорыстным помощником стал известный орловский поэт Николай Михайлович Перовский (1934–2007), с которым у Мустафина было много общего — и по судьбе, и по мировоззрению, ровесники после долго переписывались...

Увы, вышло лишь шесть номеров газеты, ибо случился дефолт. Бизнесмен Багдалов больше не мог помогать изданию. Николай Алешков «Звезду полей» не думал хоронить, он решил дождаться лучших времён (газета станет прообразом литературного журнала «Аргмак. Татарстан», который появится через десять лет), а куда, вместе с челнинскими товарищами Валерием Новиковым и Владимиром Кирилёвым, также выпускниками Литературного института, задумал другой издательский проект — «На стыке тысячелетий. Энциклопедия деловой элиты Республики Татарстан». На этот коммерческий проект работали до тридцати рекламных агентов, желающих попасть в энциклопедию (оплачивая удовольствие постранично) нашлось немало, солидный фолиант превысил шестьсот страниц! Потом таких проектов появилось немало, до сих пор в Казани выходит журнал «Элита Татарстана». Но тогда челнинцы были первыми и неплохо заработали. Их за смекалку даже отметил первый президент республики Минтимер Шарипович Шаймиев.

Для реализации издания потребовалось учредить некоммерческую организацию, создать юридическое лицо. И 19 сентября 1999 года в Министерстве юстиции РТ было официально зарегистрировано Татарстанское отделение Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей».

Председателем ТО СРП избрали, конечно, Николая Алешкова. В те годы (да и доньне) он был бесспорным лидером литературной жизни Набережных Челнов. Остаётся добавить, что тот издательский проект, помимо коммерческих целей, помог многим поэтам и прозаикам, пишущим на русском языке. На деньги, заработанные на энциклопедии деловых людей Татарстана, были изданы книги известных поэтов, о которых к началу нулевых годов «забывало» государство: Николая Беляева («След ласточки»), Николая Перовского («Звезда упала»), Романа Солнцева („Письмо на родину“), Виля Мустафина («Стихи о стихах», «Сонетные вариации»), а также первая книга убитого в Нижнекамске поэта Владимира Лёушкина («Птицы падают в небо»). Неизвестных и малоизвестных пишущих по-русски Союз писателей Татарстана упорно отвергал. У многих авторов документы на вступление там лежали годами, а то и десятилетиями, у кого-то они вовсе были утеряны... Татарстанское отделение СРП стало для русских писателей и поэтов хорошей альтернативой.

Вскоре и Виль Мустафин прослышал о новом писательском союзе. Он сам позвонил Алешкову, даже с некоторой обидой, сказав, чего, дескать, казанцев в свои ряды не зовёшь? Николай Петрович удивился — давно было известно, что Мустафин против всяких союзов, и одновременно обрадовался, узнав, что на этот раз Виль Салахович решил отступить от своего правила.

И на то были причины. Прежде всего, среди учредителей Союза российских писателей оказался друг его юности Ринат Харисович Суфиев (1939–2007), который из Казани уехал в Красноярск и издавался под псевдонимом Роман Солнцев, вскоре став известным поэтом и прозаиком, сценаристом и драматургом, создателем

и редактором солидного литературного журнала «День и ночь». Суфиев-Солнцев рассказал Мустафину, как новый «демократический» союз писателей создавался в 1991 году такими известными личностями, как Дмитрий Лихачев, Сергей Залыгин, Юрий Нагибин, Анатолий Жигулин, Владимир Соколов, которые решили выйти из Союза писателей СССР. Кстати, казанские поэты Николай Беляев и Борис Вайнер тоже были делегатами первого съезда Союза российских писателей. Вот почему Виль Салахович, всегда презиравший писательские организации, СРП оценил иначе.

Николай Алешков, рекомендовав Мустафина в свой Союз, предложил ему организовать и Казанское представительство. Тот согласился, рекомендовал многих казанских поэтов, которые, как и он сам, многие годы пишут стихи, но не издаются, нигде не вступают, да и вступить, по правде говоря, не могут, поскольку Союз писателей Татарии в лихие девяностые объявил «суверенитет» и формально вышел из Союза писателей России, объявившего себя правопреемником СП СССР.

Со временем десятки писателей разных поколений, воззрений и направлений вступили в ряды Союза российских писателей! Казанцев объединяла, прежде всего, неповторимая по обаянию личность самого Мустафина — глубокого поэта, удивительного собеседника и замечательного наставника. Каждый из членов «общины» считал его своим единомышленником, товарищем, учителем, а потом и остальных воспринимал по принципу «друг моего друга — мой друг». А челнинская «прописка» Татарстанского регионального отделения Союза российских писателей всех устраивала ещё потому, что татарстанский СП долго не воспринимал объединительных усилий Сергея Владимировича Михалкова, создавшего Международное Содружество писательских союзов (МСПС). В Казани появления «второго союза писателей» многие просто не потерпели бы...

На сегодняшний день в Татарстанском отделении Союза российских писателей состоит 65 человек. Это вторая по численности творческая организация писателей Татарстана. В 2019 году ей исполнится 20 лет.

II

В 2004 году Виль Мустафин вместе с Николаем Алешковым стал делегатом очередного съезда Союза российских писателей, проходившего в Смоленске. По приезде Виль Салахович с удовольствием рассказывал, как подружился там с орловским поэтом Дмитрием Порушкевичем, одним из авторов той же «Звезды полей», с которым много говорили и гуляли, посетили многие местные храмы. Тот интересно рассказывал про дружбу с Юрием Казаковым, прозу которого Мустафин и Алешков (не сговариваясь до этого) почитали за продолжение бунинского стиля. Конечно, и общение с первым секретарём СРП Светланой Василенко, с другими сопредседателями Союза российских писателей убедило Виля Мустафина, что он попал в «свою компанию». Отметим, что и компания приняла его. Правда, в правлении Союза российских писателей до сих пор не могут разобраться, почему Татарстанское региональное отделение прописано не в столице республики, а в Набережных Челнах? Во всех других субъектах РФ их штаб-квартиры размещаются в областных центрах! Всё по сути просто. Челнинцы зарегистрировали региональную общественную организацию, и в перерегистрации нет особого смысла, кроме пустой траты времени и сил.

Помнится, однажды я всё же вынудил Виля Салаховича высказаться более откровенно, зачем он создавал филиал СРП в Казани. Дословного ответа привести не смогу, поскольку прямая речь из приватной беседы понятна лишь в общем контексте, да и контекстов никаких я не вёл. Примерный же смысл таков. Любому человеку, даже такому самодостаточному (в своём уютном кабинетном уединении), каким казался в последние

годы Мустафин, необходимо выползть на свет. Кроме семейного круга, которым Виль Салаховича наградила судьба (жена, сестра, сыновья и внуки), он был счастлив и друзьями — были живы ещё однокашник по детскому саду Алексей Гаманилов и Марат Шараф, сидевший с ним с первого класса за одной партой, Александр Машкевич (Сан Сангыч) и Юрий Зайцев, с кем вместе пели в университетской самодеятельности, а также многие из сослуживцев по ГНИПИ-ВТ... Конечно, тут уместна фраза про «иных уж нет, а те далече» (кто уехал в США, ФРГ или Израиль). Но поэту как воздух нужен свой круг, словесное общение в общине словесности. Со времён литобъединения имени Н. Луговского при Доме печати Мустафин хранил дружбу с Булатом Галеевым и Диасом Валеевым, Гортензией Никитиной и Рустемом Кутуем. В силу разных обстоятельств поддерживать с ними отношения в последние годы удавалось чаще по телефону.

Для более тесного и живого общения хотелось собрать своих по духу людей. Если не братство, то хотя бы «клуб по интересам». Но важно было решить — под каким флагом и под чьей крышей. Случай вступить под знамёна Союза российских писателей, демократическую платформу которого Мустафин в целом разделял, показался ему счастливым.

Наиболее часто наш председатель встречался с писателями у себя дома — в заваленном книгами кабинете или на уютной кухне, где любил потчевать чаем. Домашние к визитёрам настолько привыкли, что уже не реагировали на новые лица. Любимец-кот настойчиво пытался обратить внимание гостей на собственную персону, но и тот охотно отвлекался, если хозяин давал разодрать очередную картонную коробку.

Башня из слоновой кости в нашем холодном климате — не самое подходящее укрытие. Вот почему, взявшись за дышло, Мустафин не мог не пойти дальше — как и в ряде других региональных отделений Союза, Виль Салахович создал в Казани литературную студию. Вёз свой воз, не особо напрягаясь, но и не сворачивая с пути. И вывез — целый ряд участников его студии со временем были приняты в члены Союза российских писателей. Место и время для занятий студии предоставили в картинной галерее Константина Васильева, где Виль Мустафин был «своим» со дня



В посёлке Васильево с В.С. Мустафиным. Вверху: Н.П. Алешков, сидят Г.М. Килеева, Р.Х. Кожевникова, Н.Г. Ахунова, сотрудница музея художника

основания. Там он часто посещал заседания философского клуба, основанного Самуилом Шером, с которым вместе работали в ГНИПИ-ВТ. Директор картинной галереи Геннадий Васильевич Пронин даже пытался пробить для Мустафина какую-нибудь ставку в штатном расписании. Увы, управление культуры оказалось непробиваемым.

Поэтому поэтические посиделки через три года перенесли в литературно-мемориальный музей А. М. Горького, где литобъединением имени М. Зарецкого руководила Алёна Каримова — член Союза российских писателей, она поступила на Высшие литературные курсы при Литературном институте и на два года уехала в Москву, а поменять её попросили Вилья Салаховича. Мустафина с тем музеем связывало очень многое, начиная с детства... Тем не менее, первый коллективный сборник своих студийцев, как редактор-составитель, он решил назвать «Галерея», а на обложку поставил репродукцию картины Константина Васильева «Звёздное небо». Ночь и чёрная крона спящего дерева, сквозь которую проглядывают силуэты созвездий.

III

Все свои книги Виль Мустафин также выпустил после того, когда вступил в Союз российских писателей. Но первая была самодельной, самим автором составленная, свёрстанная дома на компьютере и распечатанная на принтере — всего в три экземпляра. По меткому выражению друга, Геннадия Пронина, тираж «разошёлся удивительно быстро».

Сборник называется «Живу впервые». Странно, если учесть восточное учение о реинкарнации. Вряд ли для такого одарённого человека, как Виль Мустафин, это воплощение было первым в нашем метаисторическом слое... С другой стороны, коли сам поэт утверждает, что живёт впервые, значит, ему это было известно? Выходит, в Виле воплотилась бессмертная монада, которая до этого проходила длинный путь восхождения в иных пространствах, что описаны в «Розе Мира»? Тогда что заставило её явиться в России грозного XX столетия? Как писал Даниил Андреев, такие воплощения крупных личностей, одарённых многими талантами, обусловлены какой-то определённой миссией. Что это была за миссия и вполне ли осознавал её сам Виль — этот важнейший вопрос, как кажется, и заставил нас самонадеянно взяться за данную книгу...

Но это заключение я пишу вовсе не для того, чтобы подчеркнуть, как мы были близки с Мустафиным или в чём-то схожи. Виль Салахович старше меня на четверть века, мы из разных поколений (они выросли с джазом Лундстрема, сосланного в Казань, мы же выросли на запретных The Beatles и молодой Пугачёвой, их джаз для нас был уже классикой, архаикой). Он читал, но не шибко почитал Льва Толстого, в отличие от меня, но у Достоевского мы оба превозносили лишь «Братьев Карамазовых». Пожалуй, лишь об одной книге мы сходились во мнении стопроцентно — это «Роза Мира» Даниила Андреева. В том, что это не просто одна из величайших книг XX века, но целый Космос, который мыслящим и читающим на русском языке предстоит осваивать также долго и трудно, как советской науке пришлось покорять околоземное пространство. Мы оба были обладателями первого, «зелёного» издания, десять экземпляров которого привёз в Казань Михаил Натанович Белгородский (о нём речь была выше). Среди моих знакомых мало кто был знаком с метафилософией истории Даниила Андреева, и Мустафин стал первым, кому она была близка и понятна. Мустафин любил говорить о «Розе Мира», но никогда не употреблял в беседах и не использовал в стихах её терминологии для иноматериальных миров, которые прозревал и описывал великий русский духовидец.

Впрочем, не рискнём забираться в заоблачные дали андреевского Шаданакара без сопровождения Михаила Белгородского... Хотя в трансфизические дали, конечно,

повело нас не случайно. В книге «Живу впервые» достаточно стихотворений, написанных в разные годы и намекающих на то, что «ночные бдения» Виля порой завершались тайными путешествиями по иным мирам.

Стихотворения в ней автор расположил не в хронологическом порядке, а собрал по темам в десять разделов: «Среди людей», «Житие», «Стихи о стихах», «Холода», «Разговоры со смертью», «Химеры надежды», «Спаси и сохрани», «Плач по Россиюшке», «Мои посвящения», «Стихотворные новеллы». По моему мнению, получилось не совсем стройно по конструкции, но просторно и глубоко по смыслу. Такая широкая река с чудными живописными берегами, тихими заводьями и чёрными омутами. Погружаешься в её прозрачные воды, слепнешь от солнечных бликов, пытаешься нащупать дно под ногами — и не можешь. Страшно, но так не хочется выходить на сушу!

Когда впервые я открыл его самиздатовский сборник «Живу впервые», то обнаружил, что свои ранние стихи поэт поместил в самом конце книги. Чуть ли не в качестве приложения. А на последней странице я прочёл стихотворение — точнее говоря, глаза сами, помимо воли, выхватили последнюю строчку, а если быть совсем точным, то самое последнее слово... Обычное слово, без литературных правок.

Это грубое выражение на букву «г» в наших книгах, тем более, поэтических, писать не принято. В приличном обществе его рекомендуется заменять синонимом «дерьмо». В чиновничьих реляциях оно аналогично «фекалиям», в медицинских анамнезах «каловым массам», а в милицейских рапортах «человечьим экскрементам». От утончённого, углублённого поэта, каковым слыл в Казани Мустафин, таких слов никак не ожидаешь. Сразу захотелось перечитать стихотворение (восемь строк). И снова. От него меня словно током дёрнуло. Действительно, точнее слова к нашей грёбаной жизни, к этой судьбе-суке не подберёшь. Именно то слово. Именно с этого короткого стихотворения открылся для меня поэт Виль Мустафин. Всё, что я читал у него раньше, всё, что прочту потом, благодаря одному стихотворению и даже одному слову в нём, вдруг стало близким и ясным.

*Моя судьба лежит в пелёнках.
И некому их подменить.
Лежит и стонет тонко-тонко,
Уж не надеясь подманить*

*Ни мать свою,
Ни повитуху.
Весь мир оглох давным-давно.
Моя судьба лежит и тухнет,
Давя ручонками говно.*

Он сам любил говорить о строке, в которой вдруг раскроется для тебя весь поэт целиком — и уже не надо узнавать специально подробности его бытовой биографии. Даже в одном поэтическом слове может открыться Судьба.

Сам Мустафин в течение жизни выписывал в отдельную тетрадь по одному стихотворению самых разных поэтов — от классиков до никому не известных «провинциалов». Тетрадь Виль надписал «Моя антология». Год назад её издала на собственные средства сестра Чечкэ Салаховна, за что ей отдельный поклон.

«Живу впервые», безусловно, главная книга Мустафина — остальные издания в той или иной степени вышли из её разделов. Так, в 2000 году, перед своим 65-летием, которое Виль Салахович решил отметить первым своим поэтическим вечером (всё

в том же в музее Горького), вышли в свет две его книги — «Дневные сны и бдения ночные» и «Беседы на погосте». На последней странице «бесед» автор обращался к спонсорам: «Подготовлен макет подарочного издания данной книги с иллюстрациями художника Надира Альмеева». Спонсоров, ценителей цветаевского наследия, судя по всему, не нашлось.

А в 2002 году НаDIR Альмеев оформил последнюю прижизненную книгу друга, которую сам Виль Салахович смакетировал, как книгу-перевёртыш. По сути это две маленьких книжечки «Сонетные вариации» и «Стихи о стихах», соответственно посвящённые «с любовью» жене Галине Килеевой и сестре Чечкэ Мустафиной. Книгу издали Николай Алешков и Валерий Новиков за счёт Татарстанского отделения Союза российских писателей, отпечатав тираж на своём ризографе.

Когда Виль Салахович дарил мне эту книжку, я признался, что люблю листать сборники с конца. Прежде всего, я зачем-то смотрю выходные данные — тираж, объём в печатных листах и прочую дежурную муру. Пролистываю в начало, выхватывая глазами строчки, строфы наугад, а где и целиком стихотворение... «Перевёртыш» — не новый издательский приём. В рекламных журнальчиках часто его используют. Борис Акунин своё ничёмное «продолжение» чеховской «Чайки» тоже издал в виде книги-перевёртыша: с первой страницы обложки смотрит на нас Антон Павлович, а на последней, вверх ногами — наш нынешний беллетрист, который Тригорину, пожалуй, в подмётки не годится.

Приём Мустафина был не в пример удачнее. Стихи о стихах — откуда ни начни, хоть с начала, хоть с конца, которого, если разобраться, вовсе нет! Разразившись своим чудным мефистофельским смехом, Виль Салахович признался, что тоже любит открывать книжки с последней страницы — вот и решил сделать сюрприз для таких, как он сам. В самом деле, хорошую книгу приятно открывать с любого места и читать в любом направлении. Это ведь только любители детективов спешат заклеить последние страницы романа, чтобы не знать — кто кого убил, как и зачем...

«Сонетные вариации» и «Стихи о стихах» сходятся примерно в середине, и выходные данные, которые я так привык читать с конца, оказались посередке. Эта книжечка у Мустафина самая маленькая и в ней больше всего можно найти повторов из предыдущих изданий, тем не менее, в ней Виль Салахович беседует с товарищами-стихотворцами, литераторами, ценителями поэзии, сознательно очерчивая круг её возможных читателей теми, с кем можно говорить о тайне стихотворения, о вдохновениях свыше, о высоком предназначении пишущего. С «широким читателем» об этом не поговоришь, а про «вздохи-закаты» да про «взятки-откаты» мустафинская муза петь никогда не пыталась. Цикл о стихах заканчивается программным стихотворением «Читателю», проходящим через все сборники. В нём поэт извиняется перед «сенсором из быдла» и «вассалом из масс» за то, что никогда не сочинял популярных песенок на потребу.



Альмеев и Мустафин

В самом деле, господа, почему обязательно нужно сгибаться, наклоняться, чтобы «там, внизу» было всем хорошо видно и слышно? А массовый читатель разве не должен тянуть хилую шейку, стараться подняться выше? На этот счёт Виль Салахович, кстати, человек не самого высокого роста, любил приводить в пример баскетболиста, которому приходится ездить в городском транспорте и ночевать в гостиницах на стандартных кроватях — что ему, голову или ноги отрубить, чтоб быть таким, как все?!

Профессор Преображенский в «Собачем сердце» не скрывал, что не любит пролетариата, и Полиграфу Полиграфовичу Шарикову советовал в присутствии людей с университетским образованием — молчать и слушать. («Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества!») В этом, на мой взгляд, Мустафин весьма походил на московского профессора Покровского — родственника Булгаковых, ставшего прообразом любезнейшего Филиппа Филипповича Преображенского. И не случайно, конечно, они любили оперу (аристократический антипод площадному балагану, созданному «для увеселения толпы»). Кому-то такая позиция может показаться снобизмом. Однако Мустафин отстаивает своё право говорить с читателями...

*... лишь равный с равными в миру, —
Я даже смерть свою как шутку
воспринимаю, как игру...*

*Так что мне ты, читатель милый,
на кой мне мнение твоё:
настиг мой стих тебя иль мимо
проплыли звуки — в забытьё...*

*Умён ты или хил мозгами, —
меня не стоит поучать:
стихи диктуются богами,
мне остаётся — промывать...*

